

16.877кчз

ИВОАТЕ

КОМ
СО
МОЛУ

ВГИЗ · 1932

**КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА**

Количество предыдущих выдач

Друкарня г. Ліда, 1970 г.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

К. 16.877

30354
Жл 2264

КОМСОМОЛУ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК

54

-- 2010

О Г И З Р С Ф С Р · 1 9 3 2
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

Редактор ВНЕТОР ПОЛТОРАЦКИЙ

Технический редактор Ф. СУХОВ



Типография „Красный Октябрь“
ИВПОЛИГРАФТРЕСТА

ТАК МЫ ИДЕМ...

ФРАГМЕНТЫ

По законам борьбы,
 По какой-то особой примете
 До реакции вспышки
 Мы судим о силе огней;
 И вступая на горло
 Споткнувшихся
 Тысячелетий
 Ищем суть изменений
 И разницу —
 Разницу дней..

Потолок омываю
 Табачные волны...
 Резкой линией шага
 Режу комнату на-искосок.
 Мне на встречу выходит
 Высокая
 Хрупкая полночь,
 Жилкой маленькой бьется,
 Стучится
 В горячий висок.

Звезды падают навзничь
 На снег серебристый.
 Вдалеке, в пересыльной тюрьме
 Замелькали огни...
 Это из Петербурга
 Уводят в Сибирь декабристов,
 Это — век начинается
 И уже кандалами звенит.

Нищетою,
 Канителью,
 Оброками,
 Чортовой свадьбой
 Подымается век
 И в окошко метелями бьет.
 Пьют мужицкую кровь
 Крепостные усадьбы

И царем
В своей вотчине
Граф Шереметев живет.*

Но рождаются фабрики,
Ситцем торгует Поволжье,
Бурно строят остроги
По подворьям растут кабаки,
Фабрикант обнаглед,
Он звереет
И, скалясь по-волчьи,
Туго мускул пружинит
И на-остро точит клыки

Он растет,
Покупает страну, как невесту.
Лезет в щели и окна —
Ему уже мало дверей,
И тогда над Россией
Подымается тень манифеста
Монументом подлейшего
Из царей.

И от барщины,
С каторги,
Из старинных дворянских поместий
«Высочайшею милостью
Самодержца»,
«Нерушимо на веки-веков»,
Без тягла,
Без земли,
По-хозяйски, по-божьи, честь-честью
Отпускают «на волю» —
К купцам в кабалу мужиков.

В городах,
В подземельях, в углах,
В двухаршинных каморках
Мрут рабочие,
С голодухи сводя еле-еле концы...
Ярославские пристани
Стонут
Романовским торгом,
И над нищими пошехонцами
В ресторанах
Смеются купцы...

Это наши отцы
От чахотки до срока горели,

* Вотчина графа Шереметева находилась на территории г. Иваново-Вознесенска.

Наши матери
Гибли в когтях у хозяйских машин,
Между тем
Подымался легендарный
Мефодка Гарелин
И копил миллионы,
Из крови высасывая барыши.

Снова плавилась ночь,
Звенели железные кольца
Кандалов...
Слышишь стон
Палачами избитой земли?
Снова шли по «Владимирке»
Бледные народовольцы
И от виселиц тени
От моря до моря легли.

Еще волгли от крови
Казацкие плети,
Еще ночь тяжела,
Но растут забастовки, и вот
Нарождается партия,
Та, что уже через двадцатилетье
На взволнованный Смольный
Красногвардейцев ведет...

Ленин пишет: «Что делать»...
Пусть крепки тюремные своды,
Но в шеренге веков
Начинается новый ряд.
Загорается зарево
Революции пятого года
Генеральной
Репетицией
Октября.

Баррикады на Пресне
И песни,
И залпы метели,
И расстрел в Петербурге
Терпение сводит на-нет...
— За всеобщую стачку!
Телеграммы стачкомов летели,
И в Иванове
Возникает
Первый в мире совет...

Это только предвестница грес,
Потрясений,
Новых битв,
Наступлений,

Которые еще растут.
Еще правят жандармы,
И расстрелы рабочих на Лене
Окликают расстрел
На «Приказном мосту». *

Еще Висла нависла
Тяжелой военной погодой,
Еще тонут солдаты
По омутам Пинских болот.
Но Россия беременна
Бурным
Семнадцатым годом,
Революция подымается
И междувластьем встает.

Это только февраль.
Октябрю еще надо родиться...
Адвокаты играют в Наполеонов,
И Ленин в подполье пока...
Но заводы встают
И огнем
Большевистских традиций,
Октябрем,
Открывают семафор
Обновленным векам.

И тогда подступает рассвет...
Он врезается залпом движенья,
Сотней солнц наступают
Ногою на горло ночам...
Мы приходим
Счастливейшим поколеньем,
Поколеньем строителей,
Созидателей
Новых начал...

И рождается день,
Миллионною волею класса
Бьется жаркое сердце
И кровь тяжела, как руда...
Каждый день подымаются
Глубочайшие шахты Донбасса
До высот
Социалистического труда...

Каждый день —
Это день нашей доблести, славы и чести,
Эта сумма побед,
Достижений, открытий
И слав...

* Расстрел рабочих в Иванове 10 августа 1915 г.

И на плечи высокого дня
Подымается
Красный Манчестер,
И советскою шиною
К славе идет Ярославль.

И район,
Над которым смеялись веками, —
Пошехонье,
Стяжавшее и насмешку и стон,
Переделывается
Большевиками
В Володарский
Колхозный район.

Поднимается день
Полновесней
Бетона и стали,
Выше всех колоколен
И Эйфелевых высот...
Это — партия большевиков,
Это Сталин
К величайшим победам
Республику нашу ведет.

Слушай, сердце, —
Оно до остатка, до клетки
Бьется ритмом эпохи,
Это воли рабочей река...
Это сердце,
Живущее пятилеткой,
Сердце ленинца,
Большевика.

Сталь,
Руда,
Магистраль проводов,
Обтекающих буйным потоком,
Лен,
Зерно.
Каждый день,
Каждый шаг наш вперед, —
Это он —
Ленинизм —
Побеждает и творческим током
В каждом сердце ударника
Стуком и кровью
Живет.

Исторический путь нашей партии —
Это огромная школа,
Это школа борьбы,
Это знамя великих идей...

Мы мужаем-и крепнем
И в плотных рядах комсомола
С этим знаменем входим
В наступающий солнцем день.

Мы пока еще только
Немного выдавшие парни, —
За плечами
Какихнибудь двадцать...
Впереди еще целая жизнь!
Мы готовимся быть
Рядовыми рядов ее армий,
По истории партии
Учим ее чертежи.

Жизнь сложна...
Но взгляни,
Как идет пятилетка, и карте
Тесно в клетке меридианов,
Она оживает, и вот
Это значит
Растем мы
И под руководством партии
В ряд побед поведем
Завершающий год.

Пять лет вместо пятидесяти, —
Это вовсе не просто...
Это трудно, но мы
Не сдадим, не падем,
Ибо трудности наши
Есть трудности роста
И в самих их есть сила,
Рождающая под'ем.

Кровь отцов горяча
И предвестницею,
Зарницей
Подымается век,
О котором мечтали века,
Это самые славные
Исторической книги страницы,
Вписанные рукою
Большевика.

Часовые труда
Не согнут от бессилья колени.
Мы становимся зорче,
Наше сердце огнем не бедней,
Так идем мы,
Счастливейшим поколеньем,
Поколеньем строителей
Коммунистических дней.

Путь — дорога

Стихотворение было напечатано на третьей странице фабричной печатной газеты вверху, на последних колонках.

Песня ткацкого цеха

Шум станков,
Ремней пляс.
Бой гонков —
Цеха сказ.

Все слилось
В один звук:
Гул колес,
Стали стук.

Где ни глянь —
Ткачи ткут,
Видна ткань,
Виден труд.

Этот труд —
Радость всех.
Я твой сын,
Ткацкий цех.

Линькову не забыть, как он написал это первое стихотворение. Конец июля. Через четыре дня фабрика встанет на декретный спуск. Редактор фабричной печатной газеты говорил тогда на рабковском кружке:

— Этот номер надо бы выпустить веселеньким. Хорошо бы парочку производственных стишков напечатать.

Помнится: душу распирало сильное томление, хотелось что-то выразить или спеть большое, сильное. Манили и радовали недели отдыха, а корпуса и станки первый раз в жизни показались близкими, дорогими. Вскоре выяснилось, что томление его духа и происходит от того, что он должен сказать восторженное, ласковое и бодрое слово. Он взял записную книжку и стал выводить стопками складные слова, по длине не выходящие друг друга из строчки.

Редактору стенной газеты стихотворение очень понравилось.

— Тематика самая новая, — хвалил он. — Хороший производственный стишок. А то вон у нас Норовков пишет про одинокие могилки, про жизнь — горькую рябину и про полногрудую девушку, а Палашкин так тот о тракторе, о кулаках, а сам работает на фабрике. Не понимаю, как это у него получается. Вот раз талант у тебя открылся, валяй действуй — пиши. Нам такие тематические поэты от станка нужны.

— Постараюсь, — уныло ответил Линьков, — только вот что со мной происходит: написал это стихотворение, хочется еще и еще писать, а больше и не пишется. Где бы мне вот научиться, чтобы все время писалось.

— Ты сходи к Норовкову из паковки или к Палашкину с крахмальных барабанов. Они тебя направят к кому-нибудь из известных. Палашкин еще до революции по редакциям ходил, он знает все ходы и выходы.

Фабрика в те дни уже встала на отгул. Первым делом Линьков отправился к Норовкову, который жил далеко за городом в конце улицы, которая называлась Напорной и представляла из себя широкую лужбавину с тропкой посередине. Сразу можно было догадаться, что здесь выстроились в годы революции понаехавшие из деревень. Дом его в три окна, построенный из тоненьких бревнышек, уже хлопнулся на один бок, несмотря на то, что был видимо поставлен не больше пяти лет тому назад. Под окном росли рядом друг с другом две рябины — высокие, тонкоствольные, к тому же какие-то неродихи: на них краснелось всего только кисти по три, по четыре.

Норовков сидел на покосившемся крыльце и чистил грибы.

— Грибов набрали? — спросил его Линьков, чтобы разговориться.

— Плохо растут... жара... — ответил Норовков, смахивая рукавом пот с лица. — За семнадцать верст ходил и вот эстолько набрал.

Но жаловаться ему не стоило — грибов он принес много. В эту минуту пало Линькову в голову, что Норовков похож на критика Белинского, портрет которого он недавно рассматривал в литературной хрестоматии. Такая же редкая русая бородачка клинышком, продолговатое лицо, волосы, подстриженные под кружок. Судя по изрядной лысине, этому легкому худощавому человеку можно было дать лет пятьдесят. Линьков кратко рассказал ему цель своего посещения. Он посмотрел на него синим опечаленным взглядом и заговорил задушевно:

— Што ты, какой я тебе учитель! Сам-то я не пишу, а маюсь. Ты молодой — сам доходи, голова у тебя наверно поострее моей-то.

— А ты все-таки поделись опытом — расскажи, как пишешь.

— Я просто... я всегда жду, когда талант во мне затрепещется. Хожу, гляжу, думаю и стараюсь, чтобы на сердце у меня что-то заиграло. Как там, значит, чего-то тронется, так я сейчас писать. Когда помоложе был, это происходило часто, а теперь все реже и реже... Вот и ты прислушивайся, чтобы в тебе что-то тронулось, вроде как бы заиграло, тогда и садись писать — завсегда стишок получится. Потом я никогда никаких поэтов не читаю, чтобы не вхлопаться в подражание. Почитаю я, например, стихи Есенина, Гладкова, Некрасова, Чехова, — они меня завлекут, душа-то у меня ихними стихами пропахнет и как-никак, когда я буду писать свой стишок, от моего ихним творчеством будет наносить. В давность почитал я Кольцова и вот с тех пор привязались ко мне и всю жизнь мне твердят, что ты, говорят, под Кольцова пишешь. Чтобы этого мне не говорили, я стараюсь на разные мотивы писать. Принесу в редакцию — как у Никитина говорят, написано. Я клянусь, что я, мол, его и не читывал, — стоят на своем да и все. Так и отдадут обратно. Но уж я пригладелся, знаю почему не печатают. Дружба тут нужна, а я человек простой, старого формата, мне уж с этими редакторами и критиками не подружиться. Оттого меня и не помещают.

— Вы молодые — другое дело. Смотришь на такого: долго-

долго ходит, принохивается, зачепляется, а потом как добьется, примут его в свои приятели и почал помещать, пошел взбираться. Вот и ты по этой дорожке пускайся.

На другой день Линьков пошел к Палашкину, который проживал на Четвертом рабочем поселке. Занимал он целую квартиру в новеньком шестиквартирном доме, но жил очень тесно, грязно, беспокойно — у него были четыре дочери, и две старшие уже привели ему бездомных зятей. Палашкин — человек прикренистый, широкоплечий, с одутловатым криворотым лицом. Перекошил ему лицо еще на царской службе фельдфебель-старовер необыкновенной силы ударом кулака. До революции Палашкин служил полицейским, но был оттуда изгнан за писание стишков о новой человеческой доле. Линьков застал Палашкина за столом. Пользуясь отпуском, он писал что-то крупное на больших листах желтой бумаги, в которую обертывают на отделочных фабриках готовый товар. «Бумажки-то на фабрике напер» — мелькнуло у Линькова. Он присел у стола и рассказал Палашкину, что его прислал к нему рабкоровский кружок поучиться писать стихи.

— Не в раз ты, чудашко, попал, — заговорил ласково, нараспев Палашкин. — Я, чудашко, давно уже перешел на прозу. Теперь стихи писать плохо, трудно, надо все сочинять в новую рифму, а я, чудашко, к нынешним рифмам непривышной. Напишешь — и все им, чудашко, не так, не эдак: то рифма стара, то сыровато, то не зажигает... Так я уж на прозу и перемахнул. Теперь вот сижу и пишу повесть — «Вредитель ашпретурной фабрики». А я гляжу — в газете стишок Линькова напечатан. Да чей это, думаю, такой Линьков появился, а это, чудашко, ты и есть Линьков. Ничего, чудашко, стишок подходящий. Пиши еще.

Помолчали. Линьков пожаловался, что с творчеством дело у него обстоит очень неблагоприятно; после этой первой песни дальше ничего не пишется, а хочется, чтобы писалось, хотя бы два раза в неделю.

— Это пройдет, — успокоил его Палашкин, — со мной тоже бывало. Вот накопится у тебя настроенье и опять, чудашко, напишешь. Потом, если ты хочешь быть постоянным поэтом, так у нас в краевом городе есть такие поэты, что поему на коленке напишут. Вот только, чудашко, плохо то, что у тебя всего-на-всего один стишок написан. Ты напиши, чудашко, еще поемку и поди к ним: хорошо ли, мол, я сочинил? Скажут — плохо, так спрашивай, как научиться лучше писать. Познакомишься со всеми — тебя, чудашко, будут знать, растить тебя будут. Иди к Венкову, Головлеву, Овинину.

На тех же днях Линьков написал стихотворение «Постройка 180-квартирного дома». В нем было тридцать две строки — стихотворение показалось Линькову очень длинным и он, помня совет Палашкина, назвал его поэмой. Начиналась она так:

Как половодье, сила
Бушует там и тут.
Все новые стропила
Строители куют.

Редактор фабричной газеты и это стихотворение взял для напечатания. Это взбудрило Линькова и он смело пошел к Венкову по указанному адресу на одну из центральных улиц.

Линьков трепетно постучался в дверь. В то же мгновение рьяный раздраженный голос крикнул:

— Можно!

Венков сидел в маленькой комнате с двумя большими окнами и громадным столом, занимавшим немного меньше половины комнаты и заваленным раскрытыми перегнутыми книгами, растопыренными газетами, исписанными листами и окурками. Он сидел на углу стола и что-то быстро писал.

Линьков, стоя у двери, стеснительно объяснил ему, что он — начинающий поэт, принес свои стихи и хочет получить оценку их и указания для дальнейшей работы.

— Хотя я стихов последний год совсем не пишу и все стихотворные приемы и методы перенес на прозу, но стихи посмотрю с удовольствием. — привычно резко говорил Венков. — Присаживайся. Кстати, нет ли у тебя закурить? Ты попал очень удачно... Давай уж и спичку. Я сегодня много писал и мне полчаса-час полезно проветриться, как раз и можно поболтать с тобой.

Он взял оба стихотворения, развалился на стуле и стал читать, попыхивая дымком, предварительно успокоив посетителя насчет своего вида.

— Ты меня извини. По летам я всегда пишу в одних трусиках.

Линьков окинул взглядом его широкую грудь, крепкие плечи и загорелые толстые руки. Особенно понравилась ему большая круглая голова, подстриженная под-машинку и красиво посаженная на крепкой короткой шее.

«Этот вылезет» — сказал себе Линьков. Венков, прочитав стихи, положил их на стол и слегка потянулся:

— Ну что ж, для начинающего — стихи нормальные. Большинство теперь с таких начинает.

— А вообще-то стоит ли мне писать? — спросил Линьков с дрожью в голосе.

— Да, это вопрос для тебя чрезвычайно серьезный, над ним тебе очень стоит подумать.

— Вы... вы... скажите мне прямо, без жалости, стоит ли мне писать.

— Почему же не писать! Пиши. Теперь все пишут. Только, конечно, стоит ли тратить время на такие дрянные стихи. Надо прямо сказать: чтобы научиться хоть средне писать, тебе надо пройти адскую учебу. Все свободное время, энергию, помыслы тратить на работу над собой. Тогда может выйти толк, и года через три ты может быть будешь печататься. Лучше всего, конечно, пройти школу у какого-нибудь мастера. Вот прошлый год двое работали под моим руководством. Ну, действительно, ребята шагнули крупно. Давай вот так сделаем: я тебя научу наблюдать, записывать, комбинировать материал, ты мне по силе возможности доставляешь в мое распоряжение темки, анекдоты, историйки, записываешь бойкие рабочие словечки, высказывания на

поселке, в клубе, работаешь по моим заданиям. Через это у меня ты научишься хватке за тему, за сюжет, увидишь — как обходиться с материалом. Но только чтобы это было шито-крыто, а нето сейчас же по пашке и дружба кончена. А один будешь писать, пачками посылать в редакцию, там скажут — «слабо, сыро» и отошлют в литконсультацию, которая будет тебе присылать скучные, дурацкие советы.

— Так ты согласен на мое предложение?

Линьков не знал, что отвечать. Чувствовалось, что Венков в этом деле преследует исключительно свою выгоду, и это отталкивало:

— Как-то, понимаешь, некогда. Я вить восемь часов на фабрике, потом собранья, — забормотал Линьков.

— Вот это и хорошо — перед тобой все время живая жизнь. По правде тебе сказать, только этим ты и интересен.

— Тогда я подумаю, — увернулся Линьков.

— Думай, думай — это полезно, — сухо проговорил Венков, возвращая Линькову листочки с его стихами. Затем он взял ручку и сосредоточился над недописанным листом.

Тогда Линьков торопливо поднялся, сказал «Прощайте» и на носках пошел к двери.

— Всего лучшего, — буркнул Венков, не поднимая головы.

После этих знакомств у Линькова создалось гнетущее настроение и он хотел было уже бросить свои похождения, но жулик-настроение смазало это решение, подсунув на тех же днях предательскую радость.

Вечером в саду текстильщиков его встретила Сима Ликушина, такая радостная, довольная:

— Читала, читала... Поздравляю. Целый год с тобой гуляю и не знала, что в тебе такой талант хранится. Скорчил лицо, будто не знает о чем я говорю. Ломака! Да не «Песню» — не скромничай, «Песня» давно уже напечатана. Это я про «Постройку» говорю. Наверное уже вырезал и в тетрадочку вклеил, да еще скромничает.

— Как, разве уже напечатано? И все тридцать две строчки пропущены? — почти вскрикнул Линьков.

— Строчки я не считала, но оно такое длинное. Я очень хочу, чтобы ты, мой злоюка, писал лучше всех стихи. Впрочем, мне пора на репетицию, а ты можешь ходить по саду и сочинять.

Отойдя шагов сто, она бегом вернулась обратно и протараторила:

— Сейчас здесь бродит по аллеям поэт Головлев. Тебе надо с такими людьми знакомиться. Расхрабись и подойди к нему — разговорись. Он с нами знакомился в парке — простой такой.

Она указала ему на фигуру, мелькавшую между деревьями и поспешила на репетицию.

Линьков перешел на другую аллею и намеренно встретился с Головлевым, чтобы разглядеть его, потом, отойдя шагов десять, повернулся и пошел за ним. Он увидел, что лицо Головлева густо нацудрено, брови подведены, галстук завязан мастерски, волосы зачесаны гордо. Он не столько высок, сколько долгоног, ступня

редкой величины, калоши на нем (днем выпал дождь), по определению Линькова, были тринадцатого номера. На повороте Линьков подошел к нему и пояснил, что он — начинающий поэт — хочет, чтобы товарищ Головлев рассмотрел его стихи. Головлев очнулся от раздумья.

— Ах, с наслаждением. Давайте присядем вот на эту маленькую лавочку.

Говорил он медленно и как-то слащаво. Он уселся, положил ногу на ногу и быстро, в один момент, прочитал стихи.

— Так, — оказал он после прочтения. — Замечательно свежо! Я вижу вы первый год пишете.

Линьков поспешил подтвердить это.

— Для первого года эти стихи очень, очень хороши, в особенности для рабочего парня.

Линьков пожаловался, что пишется трудно, медленно, и спросил, что ему надо делать, чтобы писалось чаще и лучше.

— А папаша ты себе еще не нашел? Нет. Ах, ты еще не знаешь, что такое папаша. Плавать, значит, ты еще не умеешь. Ты найди себе поэта по вкусу и работай с него. У нас в городе многие через это выдвинулись. Носов под Светлова работает, Гершкович — под Уткина, Соколов — под Багрицкого, а Чувилькин даже под Молчанова дует.

— И вы, значит, первые годы под кого-нибудь работали?

— Я, знаете, поднялся на первоклассных мастерах — Гумилеве, Пастернаке, Тихонове, Сельвинском. Я прошел прекрасную школу. Кстати, нет ли у тебя трешницы? Завтра получка гонорара, получу сто шестьдесят рублей, а сейчас — ни копейки. Жене тут на днях послал триста рублей, и сегодняшний вечер без денег. Рукаю себя за то, что послал, она в балете работает и сама зарабатывает чертову уйму денег.

Вдруг он стихи Линькова аккуратно, заботливо сверял и положил в записную книжку, сказав при этом:

— Твои стихи я напечатаю. Они замечательно свежи и мне очень, очень нравятся.

Линькова бросило в трепет. Он подобострастно и благодарно посмотрел на Головлева и схватился за кошелек. Через минуту он сказал, краснея от стыда:

— Нехватает, понимаете... вообще только рупь сорок две копейки.

— Что же делать, на вечер как-нибудь хватит. Ничего, не смущайтесь, — снисходительно ободрил Головлев Линькова, — научись писать — крупную монету запищать будешь.

Он встал и, крепко пожимая руку Линькову, бросил: «Держай!».

В душе Линькова будто был в самом разгаре великий праздник — все цело и ликовало. Он почувствовал себя крепким, необыкновенным, отмеченным человеком и, глядя вслед Головлеву, мысленно кричал: «Вот это — человек! Не чета какому-нибудь Венкову! От него так и пышет мощью. А какое тонкое, искреннее обращение с начинающим».

От прилива жизнедеятельности и самых лучших чувств ему

не сиделось, он вскочил и несколько минут не знал, куда идти и применить такое исключительное, вдохновенное настроение. Сначала он решил сейчас же бежать домой и засесть писать стихи, но через мгновение, еще немного протрезвившись, он ощутил необходимость идти к Симе Ликушиной, увести ее в дальнюю аллею, рассказать, как много он ее любит и какую великую животворящую силу внесет ее любовь в его будущее необозримое творчество.

На другой день Линьков встретил в очереди за папиросами Палашкина и с восторгом рассказал ему о встрече с Головлевым. Палашкин сказал, что по виду Головлев прекрасный человек, но только стихи у него непонятны и все в новую рифму, отчего, когда читаешь их, язык вязнет и спотыкается. Он посоветовал Линькову непременно познакомиться еще с Вячеславом Овининым, который славился в среде кружковцев добротой души, прямой взглядом и бескорыстным вниманием к молодому. Палашкин передал слух, ходивший среди кружковцев, что некоторые из них так привязались к нему, что посещают его чуть ли не каждый день, и он с ними у себя на дому ведет регулярные занятия.

— Иди к нему на квартиру, иначе его нигде не встретишь, потому что он никуда не выходит. Все творит и творит. На собраниях литгруппы бывает чрезвычайно редко, на литературных вечерах не выступает из-за тонкости голоса.

К вечеру этого же дня Линьков отправился на Пески к Овинину.

Пески — загородная часть. По-над широким песчаным оврагом и ямами уселись тысячи тысяч обывательских домишек разных размеров и фасонов.

Овинин занимал заднюю комнату, с окнами во двор. Саженья в трех от окон стоял сарай, направо от него виднелись гряды с огурцами и картошкой. Окна в комнате были открыты, на столе в кувшине стоял громадный букет садовых цветов.

Овинин в холщевых штанах, в полотняной вышитой рубашке с незастегнутым воротом и без пояса сидел за столом, касаясь лицом букета цветов, и читал. Он повернулся к вошедшему, и Линьков увидел лицо с маленькими, заплаканными жиром глазами и с крупными, негритянски вывернутыми губами.

— Начинаящий? — спросил Овинин тонким голосом, как только ответил на приветствие.

— Поэт, прозаик? Хочешь печататься или пишешь для тренировки? — забросал он его вопросами.

Линьков открылся, что в отношении тем у него плоховато, а пишет он для того, чтобы печататься.

— Если хочешь печататься, пиши о достижениях, — уверенно сказал Овинин и протянул руку к Линькову за стихами...

Прочитав, он бросил стихи на стол:

— Таких стихов я в один присест сажень могу написать. Но это между прочим. Для начинающего стихи эти довольно удачны. Я их пошлю на радиостанцию — там такие стихи любят. Я им по три стихотворения в неделю пишу. Платят по пятерке.

— Сла-ава, пора ганять! — раздался голос за окном. — Шельменков уже выпустил. С Горшковым мы ловимся или нет?
— Ловимся! — закричал Овинин. — Залезайте — я сейчас, только обуюсь.

Торопливо обуваясь, он говорил Линькову:

— Я тебя сейчас познакомлю с моими учениками. Тоже начинающие. Чрезвычайно талантливые ребята. Один работает над поэмой «Малпинная звень», а другой над циклом стихов «Малиновые песни».

Они вышли на улицу. К карнизу сарая с левой стороны был приделан широкий тесовый балкон с лестницей. На балконе стоял долговязый угрюмый парень лет восемнадцати и, облокотившись на перила, дожидался указаний. Другой — маленький, белокрысый парень таких же лет стоял на крыше сарая в полной готовности — с длинным шестом в руках, на конце которого была привязана старая рубашка.

— Знакомьтесь, — сказал Овинин и указал сначала на долговязого: — Это Орлов — «цикл стихов», — потом на белокрысого: — Это Стрепетов — «поэма».

Белокрысый приветливо кивнул Линькову головой, а долговязый отвернулся и нетерпеливо крикнул Овинину:

— Какых выпущать-то?

Овинин вдруг весь отвердел, глаза его расширились, лицо стало не таким пухлым, голос усилился.

— Выпускай двух арапов... наплеку... мазурастого... одноплече-го, пару понецов и сизого.

Долговязый прямо-таки нырнул в маленькую дверку голубятни, в мгновение ока протаскив туда свое тело. Через минуту он высыпал на балкончик пригоршню голубей и, высунувшись из окошка до пояса, спугнул их.

В это время белокрысый замахал шестом с привязанной рубашкой на конце и тем отбил у голубей решительное намерение опять сесть на балкончик и вернуться в голубятню. Голуби вились над сараем, но белокрысый неистово махал шестом, и стая наконец раскочалась и широкой спиралью стала забирать в высоту. А белокрысый все еще махал шестом, все махал.

— На горшковских направляй, на горшковских, — кричал Овинин в каком-то экстазе и добавил восторженно: — Арапы у меня не голуби, а львы.

Долговязый стоял, запрокинув голову в небо, и лицо его расплылось в созерцательном очаровании. И он шептал истово со вздохом.

— Наплека сегодня повела... наплека... матушка, вергай на горшковских... милая... понецы плечико в плечико идут... парочка по гроп жизни.

Стая взяла в сторону. Овинин бросился к лестнице на крышу сарая, крикнул забытому Линькову:

— Топай сюда!

Вскоре они все четверо заподряд сидели на коньке сарая и любовались полетом голубей.

— С горшковскими смешались...

- Вместе пошли!
- Наш арап повел!..

Говорили они запальчиво, перебивая друг друга. Линьков же ничего понятного не мог разглядеть: голуби в вышине, в неизмеримой дали вихрились первобытной туманностью. Так в школе фабзавуча Линьков всегда представлял начало жизни на земле.

В это время голубиная стая обозначалась явственнее.

— Домой двигаются, — заметил долговязый.

Голуби быстро приближались. Вскоре стая разделилась на две части. Овинин и его ученики заволновались от восторга:

- Тройх ведут!..
- Нашлека опять впереди. Эх, и голубь же — цены ему нет!
- Пусть Горшков узнает, как со мной ловиться!
- Молодых ведут. По полтиннику за штуку придется взять.

Голуби делали низкие круги над сарайчиком.

— Аполончики вы мои! — кричал им Овинин. — Птицы вдохновения!

Процесс водворения голубей на голубятню занял с четверть часа. Овинин, всегда видимо только руководивший этой работой, выказал некую нетерпеливость:

— Орлов, да хватит тебе ими наслаждаться — загоняй! Пора радио итти слушать — наверное начали газету передавать.

Потом они сидели вокруг громкоговорителя, который стоял под букетом цветов, и слушали. На самом деле, в конце радиогазеты сочный басовитый голос, внятно икнув, забухал: «А сейчас артист Сосунов прочтает новое стихотворение пролетарского поэта Вячеслава Овинина — «Прорыв».

Овинин скороговоркой вставил, тоненько хихикая:

— В нем сорок три строчки. Вчера за утренним чаем одним махом написал.

Артист, крепко нажимая на рифмы, читал. Овинин вытянулся на стуле и, зажмурив глаза, в такт ритма стихотворения покачивался, весь охваченный каким-то невыразимо приятным чувством, знакомым только ему. А стихотворение катилось к концу:

Чтобы работа
Шла полным ходом —
Надо подтянуться,
А не отставать.
В бой
За пятилетку
В четыре года,
А не в пять!

Понемногу придя в себя, Овинин своей толстой ладонью долго тер лоб, будто хотел окончательно привести себя в чувство, и обратился к ученикам:

— Ну как, ребята, вам понравилось?

Линьков почтительно промолчал, долговязый был вообще видимо неразговорчив и сидел приторбнившись. Выручил белобрысый.

— Видать, что по заказу, но очень чисто состряпано.

И помолчав добавил:

— Крепко завинчено!

— Проняло, говоришь?! — засмеялся Овинин.

— Проняло, — нехотя подтвердил белобрысый...

Ребята посидели у Овинина еще минут десять. После этого посмотрев на часы, Овинин нахмурился, забеспокоился и вдруг об'явил ученикам:

— Ребята, вались-ка теперь по домам... Ко мне сейчас вдова придет.

Через день Линьков встретил на улице Чувилькина — приятеля по школе фабзауча, работающего теперь на фабрике «Знамя труда».

— Ты, говорят, тоже теперь стихи стал писать? — спросил Чувилькин.

— Да-а, говорят... А ты, поди, книжку стихов выпустил?

— Книжку, не книжку, а два стишка в газетке уже прошло, — с удовольствием поведал Чувилькин.

Они пошли рядом. Чувилькин был мал ростом, сутул, близорук, носил роговые очки, что делало его похожим на сказочного филина, и был угреват, но при всем этом широк в кости и плотен. Линьков рассказал приятелю, что он почти весь отпуск потратил на хождения со стихами по квартирам литераторов города и что в голове у него теперь полнейший сумбур: один хвалит стихи, другой ругает, все дают разные советы, а о том, как научиться писать, так толком и не рассказали. Только Головлев человек такой внимательный, душевный и очень хорошо оценивает стихи — оба стихотворения обещал поместить в журнале.

— А денег займы просил?

— Просил.

— Сколько вытянул?

— Рупь сорок две копейки.

— И деньги не отдаст и стихи не поместит. А ты, чудило, и поверил. Простота! У него такой прием. Уж если тебе хочется получить настоящую оценку своим стихам и совет, как работать, давай я тебе это устрою. Сейчас я иду в редакцию сдать для печати стихотворение и кстати сведу тебя к Челнокову. Он рабочую поэзию понимает до тонкости. Сам он книжку стихов уже выпустил.

Когда они вошли в редакцию, Чувилькин оставил друга в коридоре, а сам прошел в редакцию краевой комсомольской газеты, но Линьков оставаться в коридоре не мог — страшно хотелось знать, как Чувилькин сдает стихи в печать. Он прокрался к двери, приоткрыл ее и стал слушать:

— Вот я новое стихотворение написал на боевую тему, — обратился Чувилькин к секретарю, подавая листок.

— Давай посмотрим, что за боевая тема.

Прошло в молчании минуты три.

— Плохо, товарищ Чувилькин, — сказал секретарь, прочитав стихотворение, — и тема затасканная и сделано слабо.

— Как же это? — опешил Чувилькин. — как же?... Это стихотворение у меня на литгруппе хвалили...

— Литгруппа нам не указ — мы сами в стихах разбираемся. А потом хвалили, нет ли — дело туманное.

— Честное слово хвалили, — твердил растерявшийся Чувилькин.

— Ладно, это не важно... может и хвалили. Надо, Чувилькин, тебе больше работать над собой. А печататься не торопись.

— Это я без тебя знаю, — заносчиво ответил Чувилькин, — у вас всегда плохо. Лавочка известная. Молодых пролетарских писателей отталкиваете, — общаться с читателем ему не даете. А про работу над собой я миллион раз слышал.

— Тебе не вредно еще раз услышать.

— Публика, — проворчал Чувилькин и двинулся к выходу.

Линьков отбежал в коридор и задумчиво уселся на лавочке, Чувилькин вышел пристыженный, бледный.

— Ну как приняла? — спросил Линьков.

— Готово, — глядя в сторону, отвечал Чувилькин. — С удовольствием, гыт, пустим... Я говорю — заголовок мне самому не нравится — может, говорю, заголовок переменить. Нет, говорит, оставь — заголовок подходящий.

— Густо врешь, — подумал про себя Линьков и спросил еще:

— Когда пойдет?

— Сказали — в понедельник пустим.

— Почитаем значит... Интересно!

— Одно дело сделали, — сказал Чувилькин, вставая со скамейки. — Идем, я тебя теперь устраю... к Челнокову сведу.

Они прошли коридор и зашли за барьерчик, где под дощечкой — «Литконсультация» за маленьким столиком сидел человек лет сорока — сорока пяти, в древнем пиджаке и выпетшей косоворотке. Перед ним лежали две раскрытые папки, а в них бумага сантиметров семь в высоту. Это были исключительно стихи.

Чувилькин поздоровался с ним и, облокотившись на стол, заговорил:

— Я вот, Николай Николаич, начинающего поэта привел... он хочет, чтоб вы у него посмотрели стихи.

— Это можно, давай посмотрим, — обратился Челноков к Линькову, который моментально выхватил из кармана лестой уже раз переписанные стихи и подал ему.

— Потеснитесь, братцы, они присядут, — попросил Челноков рассыльных, от безделья горячо споривших о чем-то.

Те мирно уступили кончик скамьи. Челноков вынул очешник, расправил очки, надел их и стал медленно читать. Читал он долго и потом, глядя поверх очков, стал говорить:

— Слабые стихи, — горько вздохнул он, — таких стихов вот у меня две папки. Тысячи три будет, да то и дело отсылаем обратно с ответами птук по тридцать. — Он стукнул по вороху стихов: — Куда их?! Только и есть что на растопку. Стихи нужны оригинальные по теме, каких еще никто не писал.

По лицу Чувилькина было заметно, что он ликовал, с блаженством чувствуя, как корчится от такого отзыва его приятель.

— Тебе, товарищ, страх как много надо учиться, — продол-

жал Челноков: — А то ты смотри... — и он по строчке разобрал оба стихотворения.

— Вот вы говорите — учиться, — сказал уныло Линьков, когда он кончил, — учиться-то некогда, товарищ Челноков. Восемь часов на фабрике, потом газетку считаешь, потом на собранье — и день весь.

— Это вы бросьте, — возразил Челноков. — Я качом проработал двадцать три года, работали тогда по десять часов и то находил время учиться и писать. Да еще как и учился-то! Главное, вступи в литературный кружок.

Линьков сообщил, что литкружка у них на фабрике нет.

— Надо организовать, — сказал Челноков. — Пойдем я поговорю с товарищем Чириканским.

Они все трое встали и пошли. В конце другого коридора, за таким же барьерчиком, за длинными столами было людно. Здесь Линьков увидел Венкова, Палашкина, Головлева и еще человек четырех незнакомых. Это была комната репортеров, но сейчас они все разошлись за материалом.

Поздоровавшись с ними, Челноков спросил:

— Чириканский пришел?

— Давно, — ответил незнакомый. — Получил сегодня какой-то циркуляр от Раппа и крошит всех направо и налево.

Челноков кивнул Линькову — «идем» и двинулся к Чириканскому.

— Наш «унтер» сегодня шибко командует, — проговорил Венков.

Палашкин на это ответил:

— А вы — люди, имеющие мнение, когда он говорит — все молчите.

— Выступишь, так он сделает оргвыводы, и будешь ты у него ходить в писателях с мелкобуржуазной идеологией.

В это время ближайшая дверь отворилась, показался Чириканский, по прозвищу «унтер». Все смолкло.

— Хлопов здесь? — спросил он.

— Здесь.

— Ко мне!

И в непритворенную дверь было видно, как резким бонапартовским шагом (это к нему шло — он был одет с иголки, в бриджах, в крагах, в блестящих ботинках) он прошел за стол, у которого одиноко скучала усталая фигура Федя Линькова.

Челноков, считая свою миссию оконченной, вернулся и попросил закурить.

— Вечер что ли еще где-нибудь просят устроить? — спросил Головлев.

— Нет, литкружок организуется.

В открытую дверь было слышно, как говорил Чириканский Хлопову:

— Немедленно на Кургановской фабрике организуешь литературный кружок. Согласуй этот вопрос вот с этим товарищем.

— Я и так до невозможности загружен, назначь Палашкина, он с этой фабрики, — ему и близко и все знакомо.

— Палашкина нельзя — он слабо подкован.

— Да там и пишущих только двое...

— Без разговоров! Пишущих через библиотеку найдешь. Пойдешь? Организуешь? Если нет — выключу!

Хлопов повернулся и уныло поплелся к двери.

— Так вот, согласуйте все с ним, — сказал Чириканский застывшему у стола Линькову и тотчас же углубился в работу.



Линьков спохватился, что отпуск «не видал, как прошел», и завтра надо идти работать. Настроение было унылое, подавленное. Вспоминались похождения в эти две недели и безрадостность расширялась. Все надежды теперь устремились к литературному кружку: только литкружок — сознавал он — мог вывести его из творческого тушика, подтолкнуть, научить вести работу над собой и дать правдивое, ясное представление о литературе.

Библиотека под нажимом Хлопова создавала литкружок. Его — Линькова и Симу Ликушину пригласили, объяснили, записали в первую очередь, потом привлекли Норовкова, Палашкина. Через две недели записалось девять человек. Через три декады Хлопов сделал первое занятие. Он повел учебу по Крайскому.

Занятия все время прерывал Палашкин разговором о выпуске литкружком печатного сборника. Они по этому поводу несколько раз схватывались с Хлоповым, который доказывал, что сборник издавать чересчур рано, а Палашкин кричал: «У вас всегда рано, а рабочий в это время сидит без пролетарской литературы!» И он вновь и вновь ставил вопрос о выпуске сборника. Ему хотелось в этом сборнике напечатать своего «Вредителя», написанного во время отпуска.

Хлопов задавал к следующим занятиям прочитывать целые списки книг, но дядя Вася Норовков читать наотрез отказался:

— Почитаешь, а потом сами же вы будете нивесть сколько время донимать, что я, к примеру, на мотив Пушкина написал. Нет уж я себе такой закай дал — не брать в свои стихи ничего у московских поэтов, а у наших, конечно дело, и брать-то нечего. И отступитесь, не ругайте меня, раз я закай взял, меня не сломишь. Может быть я и читал, кабы вы мне все уши не прожужжали, что я на чужие мотивы пишу.

Хлопов ничего с ним поделать не мог и счел его безнадежным.

Хлопову приглянулась Сима Ликушина. Особенно она ему нравилась, когда он оглядывал ее сзади, — девушка с такими резкими очертаниями фигуры, вышуклая, пышная. После занятия он улавливал момент, подходил к ней на лестнице, в коридоре и приглашал пройтись.

Она, польщенная таким высоким вниманием, отвечала нескрываемым расположением.

На улице у клуба она все оглядывалась, останавливалась.

— Давай подождем Федю Линькова!

— Куда тебе его?

— Он на занятии мне прислал записку, просился проводить.

— Идем — нам без него веселее. Неужели тебе интересна эта молекула? — обрушился на своего соперника Хлопов, которому кругленькая, аппетитная, впечатлительная Сима вдруг стала такой необходимой и дорогой.

— По-моему ты создана не для таких Линьковых, — ты хороша и талантлива, а он — молекула и никакого интереса не представляет.

— Он стихи пишет.

— Он мне показывал свои стихи — сплошная бездарь, — громил Хлопов свое препятствие.

— Не знаю, как с точки зрения литературы, а вот мне он в письме написал очень хорошенький стишочек.

— Интересно, что за стихотворение! Скажите. Я прошу вас. Знаете, бывает так — человек пишет для газеты бездарные ур-стихи, а в каком-нибудь стихотворении, написанном для себя или для девушки, покажется свежее его дарование, — так ловко под-ехал к ней Хлопов, чтобы выведать ее отношения с Линьковым

— Начинается оно так, — болтала Сима:

Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб,
Расскажи мне: сколько ты ласкала,
Сколько рук ты помнишь, сколько губ.

— Только это он совсем напрасно, я — девушка и задавать мне такие вопросы совсем не пристало.

Хлопов просил дважды и от стихотворения и оттого, что она еще девушка. Тут он сказал с величайшим наслаждением:

— Симочка, да ведь это он у Всенина списал. Я тебе завтра книжку с этим стихотворением покажу. Вот бездарь — а! Чужие стихи сдувает, — возмутился Хлопов.

— А я вам не верю... не верю... До тех пор не верю, пока книжку не покажете, — блистала оживлением и молодостью Симочка. — Вы наверное на свой аршин меряете? Ха-ха-ха!.. Сами вы стихи пишете?

— Стихи я для себя считаю слишком узкой формой и работаю только над прозой.

— И много написали?

— Последнее время пишу мало. Нынче за лето написал только один роман.

— Он уже прошел?

— Вы хотите сказать, напечатан ли? Нет еще, я сначала буду печатать из него отрывки, потом в журнале пушу, а потом и в целом.

На Симу повеяло от него чем-то великим и она невольно замолчала. На свиданье, назначенное на вечер другого дня, Хлопов действительно принес книжку и показал стихотворение, отрывок из которого написал ей Линьков, и этим совсем устранил соперника. Видеться они стали почти ежевечерне: Хлопов водил ее в кино, в парк, в Нарпит ужинать...

Линьков упал духом. Чтобы не испытывать приливов мучительной ревности и не видеть Хлопова, он перестал посещать литкружок и сагитировал кружковцев собираться у него на дому.

Читали стихи, хвалили друг друга, и, зная как болезненны резкие выпады и наскоки, осторожно указывали на недостатки, а потом в полудночи предавались доморощенному литературному свободомыслию и читали Есенина. Иногда они складывались по рублевке и отряжали дядю Васю Норовкова в магазин за пивом, так как он обладал склонностью к таким прогулкам и выполнял это поручение с тем искусством, которое известно под определением «одна нога здесь, другая там».

Зехмелев, Линьков начиная шуметь —

— Руководитель... учить тоже пришел, — говорил он по адресу Хлопова. — Только что рисуется, выворачивает иностранные слова.

Дядя Вася Норовков, наслушавшись здесь стихов Есенина, запил горькую и до того запил, что жена его — расторопная тетка Надежда приходила в библиотеку ругаться:

— Из-за вас у меня сам-от запил, на этот раз уж хорошо знаю, что из-за вас... Все ходил сюда на какой-то кружок, да здесь и нахватался тоски по горло. Теперь пьет и стишки твердит и умирать собирается. Уйду, говорит, от тебя, Надежда, в могилу навечно слушать песни дождей и черемы. Налил, говорю, зонкител!.. В аду, говорю, подвесят за язык, так все стишки забудешь, а не то, што песни слушать. Вот я узнаю, что это у вас за кружок был... Я в фабком пойду, к самой дилекторше Настасье Васильевне пойду, а этот кружок без последствий не оставлю.

— Да что ты, тетка, спятила што ли? И кружок этот у нас давно развалился.

В те дни заехал на фабрику агент по распространению газеты «Голос текстилей». Как-то проходя во время смены по двору, он увидел, что его настигает небольшая бабенка. Это была тетка Надежда.

— Ты, говорят, из Москвы — проверять здешние дела приехал?

— Да, из Москвы приехал.

— Проверь ты, милой, наш кружок...

— Какой кружок? Здесь уйма всяких кружков.

— Да там вот стишки обучали писать.

И она рассказала о запое мужа и его угрозах умереть или уехать за сине море.

Агент по распространению газеты был молод, сам тоже писал стихи и очень заинтересовался этим делом: он ходил в библиотеку, там ответили, что кружок давно не существует, но агент доказывал, что кружок работает до сих пор. Тогда они для разрешения спора решили вызвать Линькова, который чистосердечно рассказал о всем, умолчав только об измене Симы. Дня через три агент поместил в своей газете заметку о литкружке на Кургановской фабрике.

«Литкружковцы, — писал он, — в поэтическом опьянении упадочной лирикой оторвались от окружающей обстановки. Сли увлеклись Есениным, мечтали об издании альманаха и путешествиях. Связи у кружка с партийными и общественными организациями никакой не было».

Дальше описывалась с некоторыми подробностями работа кружка.

На эту заметку Чириканскому указали несколько дней спустя и потому он загрохотал с большим опозданием.

Вызванный на доклад к нему Хлопов мог только сказать, что кружок был организован, занимался, но на последние занятия кружковцы не являлись по неизвестным ему причинам. Чириканский накричал на него и принялся ликвидировать прорыв — собирать крайбюро и писать статью.



Челноков пришел руководить кружком в октябре. Линьков решил было забыть о литкружке на веки-вечные, но в день собрания кружка навалилось на него нетерпение и любопытство, и он не утерпел — пошел на кружок, сел там в уголок в позе отверженного, стал слушать.

Челноков говорил о предстоящей работе кружка. В его словах не было той кичливости, заоблачности и испуганной восторженности перед словесным искусством, чем были переполнены речи Хлопова. Он звал крепче связаться с производством, участвовать в фабричной многотиражке, советовал писать частушки и обзоры для клубной эстрады. Кроме этого он вносил предложение работать над книгой очерков по истории фабрики, вести дневники бригад, работать над стихами и очерками на конкретные темы из жизни производства.

— Теперь идет перестройка работы всех фабрично-заводских кружков, — говорил Челноков, — и эти предложения не являются моими домыслами, это — план массовой работы Ралша, построенный на опыте лучших фабрично-заводских кружков и на боевых задачах пролетарской литературы. В литературу идет новый писатель-ударник. Через партячейку, через библиотеку нам удалось выявить шесть ударников, интересующихся литературой, которые сейчас присутствуют здесь. Но этого еще очень мало. Товарищ Линьков, что ты там забился в угол? Подвигайся ближе. Ты будешь заниматься в кружке?

Линьков вздрогнул и растерялся, простота и стремительность обращения и ясное представление о будущей работе растопили его и он ответил охотно:

— Буду, как же...

— Вот ты в производстве работаешь — потолкуй там с ударниками, тащи подходящих в кружок.

— Мы, товарищи, будем заниматься и теорией и высокими вопросами литературы — поскольку у нас хватит мозга, да так, чтобы одно другому не мешало.

Собрание оставило в душе Линькова бодрое настроение. Челноков ему понравился, — это по первому впечатлению совсем другой человек, полная противоположность хлыщу и сладкопевцу Хлопову, и потому Линьков его просьбу не забыл и вербовал знакомых ударников из своей смены в кружок. Особенно охотно согласился работать в кружке молодой ткацкий подмастерье Осип Каленов, который намекнул, что у него уж кое-что написано и не

худо бы почитать и получить оценку. Разговор с Каленовым происходил в клубе перед кино-сеансом и вслед за этим к нам подвинулся Палашкин — такой радостный и энергично настроенный.

— Я тоже, чудашко, завербовал парня с готовым произведением, — поведал он, — Алексей Когтев из печатного отдела с Красинской фабрики, — знаешь наверно. Чего-то тоже сочинил. В кружок будет ходить. А у меня, чудашко, книжку в издательстве приняли... Как творчество ударника будет напечатано. Помнишь, ты приходил ко мне летом-то, я писал новую вещь под заглавием «Вредители ашретурной фабрики». Про вредителя-то сократили, а про фабрику пойдет целиком и полностью. Сильно здорово, чудашко, мне подвезло. Ну-ка, книжка выходит! И хвалят меня теперь сильно. Палашкин да Палашкин — то и дело поминают. Ты заходи ко мне, у меня теперь тихо. Чтобы не шумели, не мешали мне работать, я обоих зятей выпинал!

Выслушав Палашкина, Каленов поморщился, посмотрел в потолок и усмехнулся незаметно, ничего не сказав. Линьков заметил, что усмешка относится к словам Палашкина. На втором занятии Челноков обратился к ударникам:

— У некоторых товарищей уже кое-что написано... Интересно бы послушать и ознакомиться с творчеством, чтобы узнать силы и наметить пути роста.

— Давайте я прочитаю, — отозвался Алексей Когтев — худощавый высокий человек лет тридцати пяти, вытаскивая из кармана затасканный сверток бумаг.

Смущенно, срывающимся голосом он читал и усмехался, видимо во всей полноте и сочности припоминая виденные картины и пережитые моменты. В очерке чувствовались срывы, неясности, длинноты, и по ним можно было заметить, что материал теснил его, частности вставали в ненужном содружестве, герои не хотели повертываться и то и дело лезли говорить и ругаться между собой. Но его слушали так, что любой докладчик сгорел бы от зависти. Очерк начинался так:

«Однажды Егор Иванович Когтев со старинным своим приятелем Кулюткиным за приятной беседой походя высидели четвертную и когда стали вставать — оказалось, что зашибло крепко, и потому обоим пришлось прогулять утреннюю смену.

Через день Когтев узнал, что за него эту смену отстоял сын-комсомолец, работавший тоже на красильном аппарате в другой смене. Сердце у отца злобно тронулось и будто от стыда на какую-то ноту отошло в сторону и стало досажать тревогой. Спустя два дня он встретил сына в красильном отделе в проходе между машинами и спросил строго и хмуро:

— Кто тебя просил за меня смену стоять?

Комсомолец прищурил глаза и упрямо отрезал:

— Когтевы не прогуливают!

Отец явно опешил и решил осадить его как можно хлеще, но вместо этого вышло только басовитое бормотанье:

— Суешься везде... А ты знаешь, что я за весь год только три смены пропустил...

Сын, не глядя ему в глаза, крикнул:

— И это недопустимо!

— Ах ты, жила станочная! — прикрикнул отец и, уходя от него, сердился; — отца перед всеми сконфузил. — И тут же с удовольствием отметил: — весь, чорт, в меня — такой упористый!

Через несколько дней Егор Иванович получил новый толчок. В тот день у него ушли вперед ходики и он пришел на смену рано, и чтобы скоротать время, принялся читать разные бумажки на доске объявлений:

«Шляевой выговор за лежание на товаре».

Это была девица из его слободки, и он усмехнулся: «Оксютка выговор заработала — так ей вертячке и надо».

«Непобедимый комплект № 11, — читал он дальше. — бери на буксир отстающий № 19».

Но вот что-то знакомое... Он придвинулся ближе к доске и узнал почерк сына:

«Объявляю себя ударником, обязуюсь выполнить промфинплан на все сто процентов и вызываю Егора Когтева».

Егор Иванович почувствовал одышку.

«Вот, выделок, насаждает и насаждает!.. С чего это он на меня вскинулся? Ну, я те покажу, как с отцом баловать».

Он отыскал в кармане огрызок карандаша и написал храбро и крупно:

«Высоф примаю. Е И Когтеф».

В день отдыха, за утренним чаем, он сказал сыну:

— Дура, мне любилей надо справлять, а ты на отца... Я тридцать два года на фабрике, как одна копейка, а ты на меня нападаешь... У меня одних утерейных билетов на триста рублей: все подписывался — государству помогал, а ты меня подсекаешь.

Батя, так ведь я любя... доброжелательно... Тут нашему никакой обиды нет, а так просто хочется силой, уменьем померяться... По правде тебе сказать — мне цех-графбюро эту мысль предложило, потому что ты совсем отстал, и я беру тебя на буксир.

— Покою ты мне не даешь... накачался на мою шею...

— Лучше подтянешься, ато в самых последних рядах идешь, за тебя стыд... Партийцы сколько раз мне указывали — отца, говорят, совсем не воспитываешь.

— Переучивать-то меня поздно — вот что я тебе скажу!

— Напрасно так думаешь, отец.

...Прошла целая пятидневка, а Егор Иванович не только не добился никаких успехов, а напротив — даже приучыл, потому что с ним случилось несчастье.

Около машины всегда было сыро, застаивались вода, щелочи, попадала сернистая краска и он по рассеянности, охватившей его в последние дни, стравил подметки. Полушвыдьва Цыпкина, работавшая на его машине расправляющая щипцей, жалостно посмотрела на его растерянное лицо:

— Эх ты, развесья!.. сапожки-то знаешь теперь почем?

— А тебе забота! Не твое стравил.

— Да на тебя грусть смотреть; такой дядя сыну поддался. Твой Колька выгоняет сто пять процентов, а ты... такой дядя, и на буксире.

В этот вечер Когтев шел домой один, чувствуя себя обиженным и злым.

На кого должны были пасть его обвинения, он не знал, потому обращал свою ненависть то на себя, то на окружающих. На другой день он вышел на фабрику на полтора часа раньше с сапогами под-мышкой. Он кричал, ковыряя ногтем подметки и доказав, что стравил их в производстве, потребовал ордер на сапоги.

— Ну мы выдадим тебе ордер, — отвечал предфабксма, — получишь ты сапоги и завтра их опять стравишь. Сколько же нам для тебя сапогов надо? Ты тут давно работаешь, придумай лучше какое-нибудь предохраненье.... Неужели ничего нельзя сделать?!

Когтев ощутил себя в неловком положении и наугад сказал:

— Мостки бы круг машины навести.

Эта мысль ему понравилась, он овладел собой и добивал раздосадованно:

— Сто раз я об этом кричал и никто не чешется. Покаместь кричу — скольких подметок лишился. Я и говорю, что за это хоть бы дали орден на щелблеты.

Ордер на ботинки ему дали, он получил их на другой же день и стал работать старательнее прежнего.

Находясь в бодром состоянии духа, он на тех днях несколько раз хлопнул по плечу Цыпкину, на что она неизменно отвечала:

— А вот я скажу твоей старухе.

Придя на работу после дня отдыха, он остолбенел — вокруг машины были сделаны мостки. Это было совсем неожиданно и его охватило волнение; ему захотелось сходить в фабриком и еще чего-нибудь предложить. Радостно принялся он за работу, но тут ему испортила это чудесное настроение Цыпкина.

— Вишь радуется, как маленький, — покосилась на него Цыпкина, — подумаешь какое изобретенье сделал... Все равно выработка от этого не поднимется, а вон Колька-то, говорят, тебя на двадцать пять процентов обставил.

От ее слов Егор Иваныч похолодел и с этого поднялось у него сердце на Цыпкину, всегда она перед ним заносится, временами кажется, что заигрывает и тут же ставит иголочки, дразнит... Выставляет себя ой каким человеком, а сама на такой должности сидит — зайцам на смех: вся работа ее заключается в том, что сидит она на высоком стуле и чуть-чуть растягивает пальцами полотно, идущее в аппарат

«Вот приделать бы вместо ее, — подумал в сердцах Когтев, — какиенибудь рожки, чтобы растягивали, или палку, чтобы нажимала, и будет распрекрасно».

Продумав эти слова, он усмехнулся — до того ловким показался ему подвох и смешным положение Цыпкиной, когда ее заменят рожками... Будет тогда она помнить развесю. Эту мысль он пестовал всю смену, а когда шагал домой, торопился, как никогда чувствуя, что там он разрешит эту мысль окончательно.

Промучавшись этой мыслью до вечера, он наконец убедился, что дело это ясное, сел за стол сына, вытащил из папки листок бумаги и набросал отвердевшую мысль.

«Рабоче предложено у красильных аппаратов замест расправляльщиц из обоих смен вделать рожки, а способнее всего резиновый прут на железине, чтобы ширпавый — лучше будет задевать и выгнутый, чтобы натягивало и расправляло полотно. ЕИ Когтеф».

И наученный опытом, добавил для строгости и верности: «Об этом я уже сто раз кричал и все несместа».

После этого он свернул бумажку, оторвал от тюрика одну сторонку, бережно завернул в нее бумажку и тихо уложил в карман.

На другой день после смены он зашел в фабком и с таинственным видом подал сверточек председателю.

Наступили дни горячего ожидания, возбуждение не оставляло его.

На тех днях во время работы он хлопнул Цыпкину по плечу и сказал ей на ухо:

— А Кольку-то я победу, вот помяни мое слово.

— Тебе, дядя, видно приснилось, а ты думаешь взаправду, — ответила ему Цыпкина.

— Вот увидишь... и тебе достанется, — намекнул Егор Иваныч и хихикнул.

Дней через пять завернул к нему по пути предфабкома и сообщил:

— Ну, Когтев, пляши, — твое предложение приняли.

Егор Иваныч покачнулся и ничего не ответил. Радость застряла где-то в глубине. Он посмотрел на Цыпкину и подумал: «последние дни, бабочка, тут сидишь». И тут жалко ему ее стало: как-никак жить человеку надо, к тому же у нее ребяенок.

Пришло время — к аппарату приделали выгнутый железный прут, обернутый резиной, и он стал выполнять работу лучше Цыпкиной, которая нередко отвлекалась или застывала в рассеянности.

Цыпкина сначала напуталась, но ругаться не стала, поразившись выгодностью этого приспособления.

— Что, здорово я тебя сверг? — торжествующе заявил ей Когтев. — Будешь теперь поминать развесю...

В те дни он почувствовал себя легким и ценным; ему казалось, что будто раньше лучшая половина его способностей спала, а теперь все в нем поднялось и вот он кудесничает. За утренним чаем в ближайший день отдыха он заметил, что сын смотрит на него кротко и подобострастно. От

этого старик горделиво приосанился и заявил сыну участливо, душевно:

— Ты бы вызвал кого-нибудь послабже, а то вишь на меня нарвался... Теперь вот я тебя явно победу — нехорошо тебе сделается, от ячейки стыдно будет...

— Победишь, вот и хорошо... а мне за это никакого поюра нет.

Николай не завидовал отцу, но только ему было обидно на себя, что сам он не додумался до такого усовершенствования, тогда как давно мечтает что-нибудь изобрести. Все думал изобрести что-нибудь великое, а между тем мелкого, но очень важного, не замечал. Ощущать это бессилие и неудачливость было тяжело и он записался в технический кружок.

Когтева теперь задевало одно — сын выполнял задание до ста пяти процентов, а у него выработка только пробовала подниматься к ста — ведь его приспособление давало экономно, а выработку не увеличивало. Николай достигал высокой выработки молодой расторопностью, быстротой действий, неослабным вниманием к машине, и отцу хотелось теперь придумать что-нибудь для усиления темпа работы красильного аппарата, чтобы разом перекрыть норму Николая.

Как-то накладывая черпаком разведенную краску из чана в аппарат, он неосторожно опустил черпак в жидкость, и в лицо ему бросились брызги.

— Так бельма себе выжжешь, — мысленно вскрикнул он, — сколько раз мне это грозило!

За десятки лет работы на этом аппарате он мечтал избавиться от этих ожогов; планивал провести трубку с краном от чана к аппарату, но не знал, через кого это сделать, не хотелось хлопотать, вдобавок к этому думал, что это не его дело, администрация лучше его все знает и видит: раз так сделано, значит иначе нельзя, а теперь вот оказалось, что администрация об этих вопиющих пустяках не знала.

В эту минуту его охватила мелкая нервная дрожь и уж голько после этого в сознании всплыла догадка, что эта грубка не только избавит его от ожогов, но и увеличит выработку. Тогда краску можно будет налить всего в несколько минут и простой машины, следовательно, значительно сократится.

Он хотел было тут же записать взывавшую мысль, пошел к окну, но, пройдя несколько шагов, остановился в нерешительности.

Бумажка несколько дней пробудет в фабкоме, потом будет разбираться в инженерно-техническом бюро... На это уйдет декада-две, а в это время Колька такой разгон возьмет, что потом его и не настигнешь. Когтев впал в отчаяние — уж очень поздно он схватился за это; его взяла злоба и он решил расхрабриться и идти прямо к колористу и просить его, рассказав ему о своем законном нетерпении.

На лестнице с ним встретила Цыпкина. Она обласкала его взглядом:

— Собиралась все зайти к тебе — спасибо сказать, а ты вот и встретился. Из-за твоего изобретения меня на хорошую работу перевели, теперь на серебрястой каландре работаю.

Колорист хорошо отнесся к Когтеву. Сам дошел до его машины, осмотрел, и через три дня Когтев уже расстался с черпаком. Теперь для наполнения ящиков краской требовалось всего несколько движений и пять-десять минут времени. Через два месяца он переименовал сына в выработке и получил премию в пятьдесят рублей за два рационализаторских предложения. Егор Иваныч на радостях сходил в магазин и возвратился домой с двумя литровками вина. Это было вечером перед днем отдыха.

Николай вспыхнул: хотелось ему зло накричать на отца, но он сумел справиться с волнением и заговорил спокойно и проникновенно:

— Батя, — обратился к нему Николай, — ты это брось... не пей... больно на тебя смотреть. Ты победил меня в соревновании, дал производству два полезных предложения, сумел встать в ряды ударников, и эти свои успехи ты хочешь отметить вином!

— Ну так мне теперь в девушки что ли записываться? — усмехнулся отец.

— А вот что делать! Я подтолкнул тебя своим вызовом, и ты организовал свой опыт и способности... все это произошло у тебя стихийно и случайно. Сам же ты рассказывал, что мысль о первом предложении у тебя появилась, когда ты осердился на Цыпкину... Все это понятно и естественно на первое время... А дальше? Дальше на этом ты не поедешь. Надо закрепиться, овладеть техникой, а иначе останешься опять позади. Вступай к нам в технический кружок... сегодня у нас занятие... пойдем со мной вместе.

Отец задумался и нашел, что его достижения, порождающие в нем такую большую внутреннюю гордость, по сути дела невелики и, если на чистоту сознаться, на самом деле возникли не из производственного горения и желания помочь социалистической промышленности.

И только теперь он понял, что сыном руководит кто-то крепко и прочно, оттого он такой деловитый и проясненный, и ему показались приятным и легким послушаться его».

Когтев отложил в сторону тетрадку и посмотрел на своих слушателей, и взгляд его — стойкий и безбоязненный как бы говорил: что хотите со мной делайте, а я вот осмелился и написал.

— Давайте теперь обсуждать, — произнес Челноков.

Взял слово Палашкин.

— Мутное дело этот очерк, — с наслаждением выжал Палашкин, — так в жизни никогда не бывает. Комсомолец уж очень со знателен и настойчив, а старик-отец гораздо способен и замолчалив. Разукрашено. Так в жизни не происходит. Не типично.

Когтев не сдержался и крикнул:

— Вот так критика! Это же я про себя написал.

— Значит, у вас с сыном так в точности дело было? — спросил Каленов.

— Сына у меня нет... у меня дочери.

— Так этот рационализатор ты сам?

— Да нет...

— Ну, а говоришь про себя написал...

— Это я про своего отца... а сын... это мой младший брат...

В одном доме живем, на одной фабрике работаем.

— Ага, про отца и брата, значит, написано, — понял Каленов, — теперь я немножко вообще и по поводу. Вот я сегодня тоже собираюсь прочитать свой очерк. У нас, впервые берущихся за перо, выходит поверхностно, для нас самое трудное дело — психология. Честное слово. Мой очерк хуже, чем у него. На психологию у меня сил нехватало. У него в некоторых местах она проглядывает, но по-моему неправильно проглядывает.

Когтеву надо бы нам показать изобретателя, который живет интересами своей фабрики, своего производства. А он кого же нам описал? Рабочего со старой душой! Изобретать его толкают свои шкурные мыслишки. Первое предложение внес из-за того, что подметки стравил, второе из-за злобы на Цыпкину и только третье, чтобы не поддаться сыну... Так сказать, по социалистической причине...

— Складно говорит, — подумал Линьков, — развитой.

— Тут Когтев отчасти мог бы исправить свою ошибку, если бы нажал на психологию, но видать она ему, как и мне грешному, не по плечу. Как зародилось и расширилось в душе старика чувство соревнования — он совсем не показал, и мне даже обидно за это.

Обсуждение очерка Каленов своим словом поднял на недоступную для многих принципиальную высоту и потому высказываться никто не брался. Чтобы свернуть молчание, выступил сам Челноков:

— Товарищ Каленов говорил сейчас очень дельно, но по-моему хватил чересчур высоко. Поскольку я знаю нашего текстильщика, то начало его изобретательского пути дано с чутьем, со знанием рабочего. Творческий путь большинства изобретателей начинается с этих личных стимулов и только потом они перерастают в энтузиастов и борцов реконструктивного периода.

Начало роста этого рабочего набросано правильно. Только вот что наверное всем бросилось в глаза: у очерка нет конца. Но это общее явление. У всех самых актуальных рассказов конца нет. Для того чтобы написать вторую половину этого очерка, надо ждать полгода или год и тогда можно будет показать поход героя очерка за техникой, обогащение знаниями и его теперь уже осознанное творчество, его роль сознательного ударника социалистической промышленности.

После этого стал читать свой очерк Каленов.

— Я сейчас вам прочитаю очерк «Ложь». Слушайте:

«С собрания ткацкий подмастерье Осип Вонелак идет

с ремонтировщицей из прядильной — Марусей Петинной. Он провожает ее на Первомайский поселок. Вечер. Времени около одиннадцати. Свет, вывалившийся из окон, освещает большие и малые лужи под окнами.

Ветер с редкими мелкими каплями дождя мотается по улице.

«И давай, Маруся, — говорил Вонелак своей любимой девушке, — наладим совместную жизнь без перепалок, без ревности — на полном доверии... Главное, чтобы ни в чем никогда не мешать друг другу, чтобы никакой помехи от совместной жизни общественной работе, посещению собраний, спектаклей, отъездам, экскурсиям не было. Кроме общественной работы ты будешь готовиться в комвуз, а я много времени буду уделять изобретательству.

Говоря так, он не забывал обвивать ее стан рукой и прижимать к себе.

— Я ни в чем не буду стеснять тебя, Оська, — отвечала девушка. — Ты мне скажешь: «Вот здесь ты мне мешаешь. Мария». И я не буду тебе мешать. Я буду помогать тебе изобретать и работать. А когда потухнет наша любовь, мы не будем обманывать друг друга, а по-дружески простимся и разойдемся... Я помогу тебе изобрести что-нибудь для прядильной, потому что я прядильную знаю на-зубок, как ты ткацкую».

«Вот это любовь, так любовь! — воскликнул про себя Линьков. — Любят же так люди... аа-а. А у меня что за любовь была. Не любовь, а выкидыш какой-то...»

«Присутствие любимой бодрило, прищипывало Вонелака и он твердел, горячился:

— Есть, Маша, одно дело, которое меня злит. Я тебе много раз рассказывал о своем изобретении, предложенном мной во время смотра фабрики, но его до сих пор не провели в жизнь... Мое терпение лопается... Я подниму бучу. Вель ты подумай — до сих пор сколько мы теряем. Я предложил проект нового навоя. По моему проекту ткацкий навой устанавливается так, что основа дорабатывается до конца. А ведь до сих пор при доработке основы на каждом станке срезается метр, полтора и более недоработанной основы, которая идет в концы... Маш, ты раскинь умом. У нас на фабрике три тысячи шестьсот станков. В один месяц мое изобретение даст десятки тысяч ткани только на одной нашей фабрике. А если вести по всем фабрикам да подсчитать метры моего навоя — это будут миллионы метров! Мой проект на пяти листах. Там все высчитано, разработано и приложен чертеж. Я несколько раз заходил спрашивать, как дела с моим изобретением. «Разбирается, проверяется... Вот скоро скажем» — отвечали мне.

Мария думала несколько минут, но потом, решившись на какое-то огорчение, заговорила.

— Слушай, Ося, тебе надо взяться за это дело с сердцем, а то вчера меня после комиссии провожал Шура и при-

упоминании о тебе говорил, что ни он, ни сам Дьяволенок не знают, куда запропастились рабочие предложения. Сначала они лежали в столе у Шуры — так говорит Дьяволенок, а Шура говорит, что они лежали в общем шкафе. Месяца два слишком так прошло и они лежали то в столе, то шкафе. Потом хватились их. Нет и нет. И в столе нет и в шкафе нет. А предложений было около восьмисот.

На другой день Вонелак зашел в фабком и спросил у Шуры, принято ли его изобретение.

Шура был человек лет сорока и звали его все Шурой за то, что он брил бороду, носил галстук и был высок, худощав с дряблой кожей лица. Он был женат три раза, и жены по-чему-то неизменно уходили от него, а он все искал новых жен и ухаживал за девицами и разведенными, намереваясь жениться в четвертый раз. Профессия его — браковщик. Два года на профработе. Вопрос Вонелака вывел его из обычного оцепенело-важного настроения, по дряблему его лицу пробежала сизая потная краска вместо румянца и он заговорил необыкновенно ласково, но сбивчиво:

— Все готово... Понимаешь... Видишь ли... просмотрено, разобрано и проверено... И теперь, понимаешь, ответ подрабатывается... зайти через недельку — все будет совсем готово

— Эх, ты — неделька, — процедил сквозь зубы Вонелак.

— Чего ты ворчишь?

— Да ты бы еще сказал — через месяц.

— Ничего не поделаешь. Изобретение ведь тебе не резолуция.

Все равно и через неделю результатов не будет... Уж я это чувствую...

— В этом с одной стороны не наша вина, а с другой стороны может быть и не будет. Дура, тебе бы научную разработку в неделю сделали.

— Сам ты дура. Я над этим изобретением работал меньше времени, чем вы его разбираете.

— Ну так не все ведь такие приткие, как ты.

— Да уж тебя сама лень на версту обставит.

Осип сторяча решил говорить об этом с председателем фабкома и направился в его комнату.

За столом сидел маленький черноволосый курчавый человек. Осип хорошо знал его, как и все рабочие фабрики. В ячейке и в фабкоме считали его чрезмерно перегруженным человеком; сам он часто говорил, что его задавили работой, что у него голова кругом идет, но рабочие относились к нему с усмешкой; не нравилась им его напрасная суетливость, бестолковое нетерпение, рывок, непродуманность в работе, верхоглядство и невнимательность в обращении. Ходил он мелкими шажками и быстро-быстро — почти бегал, мелькал, носился, и его за это прозвали Дьяволенком.

Но это слово не звучало как поощрение. Рабочие давно заметили, что он суетится больше попусту, а толком у него ничего не выходило, с производством он был связан плохо.

Осип подсел к его столу. Рассказал о волоките со своим изобретением и резко высказал свое недовольство постановкой дела с разбором рабочих предложений, потребовал определенного ответа.

Предфабкома заерзал, открыл для чего-то три ящика в письменном столе, выложил брошюрку и увидев, что это только нервная суетливость, остановился, потом затараторил:

— Потерпи, товарищ изобретатель, ведь если бы мы сами принимали, а то ведь инженеры... Он сказал тебе — «через неделю», ну и потерпи. Срок небольшой, а дело не шуточное... Ответ, ответ... Ведь это не удостоверение личности получить. Заспокойся и дожидайся, как велит нам дисциплина, а мы нажмем по всем линиям. Поди, а то работы у меня — хоть на десять частей разрывайся.

Ровно через неделю изобретатель Вонелак зашел все к тому же прекрасному Шуру, которому, значит, был вверен производственный сектор.

Шура узнал изобретателя издали, подал руку и не дождавшись вопроса — «а ну как мой навой поживает?» — сказал с какой-то деланной искренностью и оживлением.

— Поздно ты, Вонелак, зашел, зря значит мы с тобой из-за недели ругались. На твое изобретение дали научный ответ... одобрили и послали в Москву для полного утверждения.

Надо бы радоваться, но вместо этого душа изобретателя почему-то заныла.

— А почему бы здесь сначала не попробовать, без Москвы... станках на десяти, — пробормотал Вонелак.

— Нельзя... денег стоит... Санкция нужна.

— А долго ли в Москве будут рассматривать?

— А вот уж это мне неизвестно... я не московский...

Может неделю, а может и шесть месяцев.

Шура легко вздохнул и вышел в другую комнату. — Все. Каленов смолк, и свернув в трубочку тетрадку, убрал ее в карман.

— Это что — быль или вымысел? — задали ему вопрос.

— Так это же я сам, только фамилия моя тут перевернута. Заметили наверно.

— И у тебя верно есть изобретенье?

— Да, я навой усовершенствовал... Основу до конца позволяет дорабатывать.

— И его на самом деле так замотали?

— А что я тебе врать что ли стану...

— А Дьяволенок и Шура на самом деле работники фабкома?

— Факт!

— И они до сих пор работают в фабкоме?

— Ну да... пойдем хоть завтра обоих покажу... И Маруська тут живая описана. Вот ребята — не дадут соврать!

— Вот что странно, — вставил свой вопрос Челноков, — в очерке Когтева работник фабкома идеальный исполнитель, а у тебя какие-то уроды.

— Так я же с другой фабрики... С имени Красина... у нас фабком новый, — отозвался Когтев.

Тут наперед вышел Норовков, влекомый как бы чувством негодования, смятый волнением и непривычкой выступать, заговорил раздраженно:

— Вот у Когтева непонятно — как все-таки отец победил сына... Победил, победил, а как победил — ничего непонятно. Одно только слово, что победил. Так наговорить мало ли что можно... Хоть бы цифру тут какую для правды подбросил, а то не верится. А здесь у Каленова не показано, в чем же состоит его изобретение. Изобретение, изобретение, а что за изобретение — не сказано. Может это пуля. Не по мысли мне ихне писанье... только по губам мажут... А вы нам напишите, чтобы все подробно... чтобы в лоб било.

— Сам напиши лучше-то — недовольно выжала какая-то девушка.

— Я уж и не берусь, коли мне не написать... я уж чего-нибудь стишком двину.

— Кто, товарищи, еще хочет высказаться? Тебе? Ага... Слово товарищу Линькову!

— По-моему, товарищи, это не очерк, а еще только начало очерка. Действие совсем не развернуто и что случилось с изобретением Вонелака — покрыто мраком неизвестности. Очень жаль так же, что автор не рассказал, какой экономический эффект дает это изобретение.

— Как же я могу показать, — возмутился Каленов, — раз мое изобретение чорт-те где... может его уж потеряли...

— Ясно, что этот очерк, — заговорил Челноков, и его оценку встретила внимательная тишь, — наполовину недописан и в создании этого очерка нашему кружку придется принять участие. Я предложил бы выделить бригаду и узнать, где находятся рабочие предложения и кто их разбирает и проводит...

На этом обсуждение очерка и закончилось. Предложение Челнокова было принято. В бригаду избрали: Линькова, Когтева и самого Каленова.

Перед концом собрания Линькову передали записку, он, не читая, заметил почерк Симы Ликушиной и сразу как-то тяжело оттвердел и ощутил свирепое злорадство. «Пойдем вместе домой. я хочу с тобой говорить и помять тебя в снегу» — прочитал он, и в душу его влилось ощущение теплой близости, чувственного намека и раздраженного раскаяния, но в ту же минуту в нем грузно вздыбилась обида.

— Хлопов бросил ее, — едко подумал он, — она теперь видите ли свободна и может меня теперь обслужить своей любовью.

И он ощутил еще большее отвращение к ней, припомнив, что ее связь с Хлоповым кончилась абортom и она, кончившая фабзауч, перешла из производства в правление фабрики на канцелярскую работу.

С этим настроением он вышел из клуба и заметив, что она перед ним замедляет шаг, вернул в сторону, обошел ее и присоединился к компании Каленова.

Проходя по фабричному двору с работы домой, Линьков заинтересовался — почему впереди идущие рабочие замедляют шаг. Вскоре перед ним встал громадный плакат, выставленный на самом бойком месте двора.

Громадные синие и красные буквы вопили и угрожали.

НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ СУД РВАЧЕЙ ПОХЛЕБКИНА И СМИРНОВА,
ПОКУШАВШИХСЯ НА ПОЭТА ТОВАРИЩА НОРОВКОВА.

НА ВЫЛАЗКУ ВРАГА ОТВЕТИМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НОВЫХ УДАРНЫХ
БРИГАД И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОМФИНПЛАНА.

— Ах, чорт-те дери! — ахнул Линьков. — Вот старику подвезло! Ах, здорово подвезло, — завистливо подумал он и побежал скорее узнать, что такое произошло. В тот же день он узнал следующую историю:

Четыре дня тому назад вышла фабричная печатная газета «Красный ткач» (тираж 2 000 экземпляров) со стихотворением Норовкова «Поэма о промфинплане» (заголовок редактора, у автора называлась «Наша рана в выполнении промфинплана»):

Скажи, товарищ, где живешь?
Сидишь тоскливо, ждешь
Чего ты так вяло?
Прошла пора, другая настала,
И надо работать как можно гарно
В этот период ударный.
Не мало потерпел промфинплан зла,
Благодаря плехтовального козла.
Ремонтный цех делает кривошипы.
Точно ниткой шиты, —
Поставили на станок сто второй,
А он сломался той порой.
Прижим наладилки тут второй
И выработка пошла горой,
Но какой! Не сто процентов плана,
А 87 процентов изъяна.
Еще больше есть грехи.

Вот они какие:
Похлебкин, Пеплин и Смирнов —
Работники благие,
Во-во какие.

Рабочих кроют матом,
Мастеров — бюрократом,
А толку от них ни-ни-ни
И слова им не говори.
Не только вредны эти трое,
Но есть кое-что другое.
Есть такие ткачи-молодушки —
Работают развали-валя.
Пора покончить нам, пора
С таким ненужным нам изъямом
И вплотную заняться промфинпланом.

Это было его первое стихотворение, тиснутое в печати. Норовков помолодел лет на пять, оживился, спрашивал у друзей-кружковцев, читали ли они его, и просил дать оценку.

— Выдержанно и ценно... и идеология есть, ты явно начинаешь перестраиваться, — сказал ему Каленов. — Но, понимаешь ли, уж очень оно написано под Демьяна Бедного.

Если бы знал Каленов об «ахиллесовой пяте» Норовкова, не сказал бы этих слов, но он был в кружке человек новый.

Слезы навернулись на глазах Норовкова и он проговорил с отчаянием:

— Так видно меня этим и угробят... Всю жизнь этим режут, как финским ножом. То, говорили, — под Кольцова, то под Никитина, а теперь уж под Демьяна Бедного... Значит своего мотива у меня и нет... Валяйте — режьте...

На этом и кончился его разговор с Каленовым. Но ему предстояло претерпеть нечто горшее.

В день отдыха возвращался он из библиотеки домой. Шел по Напорной улице. Навстречу ему попались Похлебкин и Смирнов. Они были пьяны и шли в обнимку.

Похлебкин пьяно ослабился и заорал:

— А-аа — писатель!.. Песенки, стишочки!.. Как, значит, в рихму сошлось, так рупь. Знаем... сказывали. Сколько за нас заплатили?..

— А-а, гад! — откуда-то сбоку проскрежетал Смирнов. — В деревне жили — свой человек был, а здесь в образованные пошел. Прокатку про нас сочинил. На смех нас, на позор...

— Идите себе своей дорогой. Выпили, ну и ладно...

— Да ты что ли нас поил?!

— Да не я — сами напились.

— Еще смеется!..

— Загибается, гад!

— Да ты не толкайся...

— Да я только мимо прохожу.

— Смажь!..

В тот же миг Смирнов двинул ему по боку... Книжки выпали из рук Норовкова и он покачнулся. Похлебкин ударил его по уху. Норовков бросился бежать, но Смирнов подставил ему ногу и он упал. Его били, пинали ногами...



Фабкомовский канцелярист остановил Дьяволенка на полном ходу в коридоре:

— Илья Семенович, в фабком бригада пришла.

— Эка новость! Подумаешь, нашел диковину — бригада пришла. То и дело бригады идут. Направьте там бригаду, куда ей охота. Отчеты разложите.

— Бригадир у них какой-то чорт: отчеты не читает и итти куда не хочет. «Давайте, говорит, нам заведующего производственным сектором». А Шуры нет. «Тогда, говорит, который тут есть председатель фабкома». «Он, мол, неизвестно куда вышел». Сели дожидаться.

Дьяволенок покорился неизбежности встречи с бригадой и повернул в фабком. Через несколько минут он уже сидел за своим столом, а Когтев, Линьков и Каленов столпились перед ним.

— Мы — бригада из литературного кружка, — начал учтиво, не торопясь, Когтев. — Нам поручено написать большой очерк о рабочих предложениях и изобретениях. Говорят, во время смотра фабрики было внесено до восьмисот предложений. И вот решили мы написать большой очерк: какие улучшения от них получило

производство, сколько получено экономии и прочее и прочее и кто они, эти рабочие рационализаторы и изобретатели. Можно у вас получить весь этот материал?

Предфабкома засуетился, отпер все ящики своего письменного стола, открывал их, захлопывал и только после этой нечужной суетни ответил:

— Ведь я тут, ребята, совсем не при чем... Все это в производственном секторе. Туда и пройдите... вот рядом дверь.

— Да его нет... Второй час мы здесь.

— Ну, значит, гденибудь на пленуме. Вы зайдите как-нибудь на этих деньках — я ему вменю, чтобы материальчик он вам подобрал.

Когтев кашлянул и сурово отрезал:

— Нет уж, все это надо сделать сегодня.

Ему вторили Каленов и Линьков:

— У нас времени тоже в обрез!

— Ведь нам троим собраться не легко.

— Нам надо не на этих деньках, а сегодня, — твердо и звонко повторил Когтев.

— Ну что, ребята, мне теперь делать, — взмолился предфабкома. — Раз нет здесь моего производственного сектора? Пойдемте, я пошлю за ним.

Он привел их в другую комнату, послал канцеляриста разыскивать Левкоева (это была фамилия Шуры) и велел бригаде дожидаться его.

Отделавшись от бригады, он забежал к своему столу, запер все ящики, сгреб правой рукой свой туго набитый, неразгружавшийся года два портфель, понесся по лестницам и коридорам.

Канцелярист нашел Левкоева в столовке; пообедав, он любезничал с какой-то чернявой женщиной лет тридцати пяти.

Он запальчиво сообщил ему о нашествии бригады, растолковав точно, какую она имеет цель, и передал разговор ее с предфабкома.

Левкоев пришел с бледным лицом и влажным испуганным взглядом глянул на ожидавших его.

Когтев все так же учтиво и не торопясь объяснил ему, кто они такие, какую документацию до него имеют.

— Это вы, ребята, не сюда попали, — с большим сожалением произнес Левкоев. — Вы валяйте в инженерно-техническую секцию... там все это самое разбирается. Давно мы на них нажимаем, но они слабы темпом и сильно задерживают разбор... Опять же дирекция нам в этом деле не помогает.

Ребята пришли в полное замешательство и заметно приуныли: ИТС ведь не учреждение. Где кого искать и кто этим ведает? Тяжелый труд!

Каленов вздохнул и в отчаянии спросил:

— А кому ты сдавал все эти предложения? Ты хоть нам дай к нему записку, а то мы ничего не найдем.

— Да какую же я дам вам записку? — игриво возразил Левкоев.

Да это же, ребята, бюрократизм — заводить переписку внутри своей фабрики.

Когтев давно уже чувствовал, как подступает раздражение, а в последний момент увидел, что их обводят, и Левкоев того гляди оставит их в дураках, и, еле сдерживая возмущение, властно заявил:

— Это, конечно, ерунда — бумажки нам никакой не надо. Он с нами сам дойдет до ИТС. Он знает, кто этими делами ведает, и все разыщет сам. Он в этом заинтересован больше нашего... Пойдем!

— Вот это человек! — восторженно сказал себе Линьков. — У него, видно, не вывернешься. Без него мы бы так и ушли, ничего не добившись.

Тут он вспомнил, что Когтев работает в печатном отделе раклистом — самая высокая квалификация в аппаратной фабрике, и оттого переполнился уважением к нему.

Лицо Левкоева покрылось багровым румянцем. Он медленно встал...

При этом все встали и приготовились идти.

Левкоев сделал первый шаг и пошатнулся... Потом усилием воли выпрямил себя, подошел к шкафу и с бессмысленным видом стал рыться в бумагах.

Молчали долго и со злостью.

— Ты нас не морочь!.. Все равно теперь не вывернешься. — неожиданно закричал Линьков, дрожа от возмущения, — если предложения вы с Дьяволенком потеряли, так надо сознаться... Волокитой тут не отделаешься. Да! Что ты нас томишь и берешь измором? Знаем!..

Левкоев повернул к бригаде стертое страхом и неловкостью лицо, забормотал:

— Не знаем, куда задевали... Где-нибудь в делах... Я, надо быть, их не видал. Мы, ребята, найдем... разыщем... все разроем... Зайдите через неде-ель... денек.

— Это «зайдите» ты брось, — остановил его Когтев. — Ты скажи откровенно, давно ли вы их ищете?

Левкоев промолчал.

— Скоро уж наверно месяц? — сделал предположение Каленов.

— Ты уж говори начистоту, — посоветовал спокойно Когтев: — потеряли, мол, и никак не можем найти.



Появились заметки в местной газете. Избиение Норовкова и потеря восьмисот рабочих предложений привлекли к фабрике внимание всего города.

Каленов как-то пошутил над ним:

— Ты теперь у нас классик: вишь как прославился!

С легкой руки Каленова в веселые минуты его стали называть классиком. Опортунистическое руководство фабкома, совсем развалившее производственную работу, было немедленно снято: на фабрике были назначены в разные числа с небольшим

промежутком два показательных выездных процесса народного суда. Вскоре полетели со своего поста и директор со своим заместителем: фабрика выполняла только 79% плана, а брак превышал всякие нормы и по ткацкой фабрике доходил до 23% — цифра баснословная, в семь раз выше нормы.

Общественность фабрики, подняв на возможную принципиальную высоту оба события, провела успешную агитационную работу. Рабочие объявили штурмовой квартал, чтобы за эти два месяца, оставшиеся до нового года, добиться стопроцентных показателей.

Создавая новые ударные бригады, добивались стопроцентной производительности, повели борьбу с браком, потерями и неряшливостью.

Челноков включил свежие силы и энтузиазм кружковцев в эту героическую штурмовую кампанию.

Литгруппа вместе с рабкоровским кружком ударно выпустила в те дни во всех цехах фабрики стенные газеты. В ткацком цехе вышла «Тревога», в прядильном «Вперед», в ашретурном «Удар». Газеты гвоздили стихами, написанными литкружковцами, о прогульщиках, лодырях, грубиянах.

Старик Норовков помолодел и выносливостью превосходил молодых. За составлением газет он засиживался с ними дольше полуночи, а к пяти часам утра ему надо было опять идти на фабрику. Из-под его пера на диво всем выходили звонкие и меткие стихи:

Виноваты в этом многие:
Аля, Таня, Прав, Семен.
Пяжку топчут, портят многие,
А убытков — миллион.

Линькова эта работа захватила и он выводил напористые стихи:

Чтоб не растратить миллионы нам
И быть всегда в передовых,
Расходуй хлопок экономно,
Как пули в сватках боевых.
Не тратьте хлопок безобразно,
Не делайте присучки грязно,
От ленточных, от банкаброшей
Ждет ватер ровницы хорошей.

Возвращаясь во втором часу ночи домой, Когтев говорил шагавшему с ним Линькову:

— Ты, брат, принимайся вплотную... Я, например, што? Я, конечно, писателем могу быть... Вот написал рассказик про отца и брата. В журнале «Ударник» сказали, что напечатают... Вот напишу большой очерк про печатный отдел, про ударную бригаду... А дальше мне и не подняться... Если вон еще Венков мелко плавает, если ему никак не вылезается, так мне до него, как до небес. Почитаешь его, и видать, что он умеет работать и в двадцать раз знает больше меня. Чтобы мне так писать, надо годов десять учиться. Да еще — где учиться? В институтах учиться, а мне тридцать семь годов, память-то очерствела...

— Зря ты себя стращаешь, — молвил Линьков, — вон был в Англии писатель Дефо: так он начал романы писать шестидесяти лет.

— Мало ли что было, — возразил ему Когтев. — Может, у него образование-то было чорт-те какое и талант скрывался первейший. В институт уж меня не примут — перерос, да и экзамена я ни одного не выдержу. А ты молодой, даровитый, ты любой институт можешь пройти... всю литературу обмозговать. Вот ты можешь большого достигнуть, если много работать будешь и учиться. Валяй, брат, достигай, прошу тебя, ато главные толстые книги — романы, повести и очерки по двести страниц — попржнему будут для нас писать не наши, не пролетарские писатели.

— Ах, как много надо знать, чтобы взять на себя эту роль, — отчеканил Линьков.

— Напирай, осилишь... возьмешь... — уверенно и просто говорил Когтев. — Я в тебе толк вижу и потому ты должен достигать. Вот мы, ударники, пришли в литературу и ведь у нас нет той мысли, что мы все будем знаменитыми писателями. Нет. Ну, научимся понимать литературу, этот, другой, третий напишут рассказ или книжку про ударную бригаду или изобретенье. И это очень замечательно. А вот единицы из наших тысячей выйдут в большие поэты и писатели, напишут нам большие книги.

Линьков молчал и думал о чем-то.

— Только ты не отрывайся и не ленись, — предупредил его Когтев, — ато, брат, хрен тебе цена будет.

— Это я знаю, — глухо, сквозь раздумье, ответил Линьков, — даже немного испытал, что значит оторваться.



Заведующий производственным сектором Левкоев и председатель фабкома Жижин, по прозвищу Дьяволенок, сидели на скамье подсудимых. В показаниях они сваливали вину друг на друга, и рабочие, переполнившие зал, несколько раз сопровождали их слова дружным смехом.

Левкоев уверял, что он видел папку с рабочими предложениями последний раз в шкафу, куда ее сунул на бегу Жижин, а последний клялся, что папка все время лежала в столе у Левкоева и только на нем, на Левкоеве, лежала работа по реализации рабочего творчества.

Допрос помощника директора Потолкуева установил безобразное отношение администрации к инициативе рабочих. Дирекция в хозяйственном смотре совершенно не участвовала, на техническом совещании вопрос не обсуждался.

Общественными обвинителями на процессе выступали Челноков и Когтев, оба партийцы.

— Если бы мы судили только Жижина и Левкоева, — говорил Челноков, — так этот суд достаточно было провести в камере нарсуда. Но мы судим здесь в лице их человека со старой душой, со старым, дряхлым индивидуалистическим содержанием. Что представляет из себя Левкоев? Он — бескрылый чувственник, мягкотелый созерцатель. Он — индивидуалист до мозга костей.

Общественность для него только служба, служба — только для зарплат. Он важен и спесив, и всегда у него для отвода глаз измотанный, усталый государственный вид, а на самом деле он весь в Илью Ильича Обломова, то-есть лентяй, каких свет не видал.

Теперь посмотрим на Жижина. Этот бегаёт с неизменно туго набитым портфелем и с первого впечатления подумаешь, что он горами ворочает, а на самом деле это колесико нашей общественности всегда на холостом ходу. У него нет умения работать: нет плана, системы, настойчивости и воли. Но он самолюбив, никому никогда не сознаётся, что не умеет работать. Он низко, мелко самолюбив, крайне индивидуалистичен и ни к кому не идёт на вычку.

Чтобы скрыть ото всех свою беспомощность, свое пустое содержание, надо обтянуть себя скорлупой. И это он сумел сделать. Эта скорлупка — умение корчить из себя бешено делового, провертывавшего вороха работы человека. Ему мила поэзия постоянного сознания своего высокого чина, поэзия чувства великой загроуженности и высокого превосходства над рядовыми людьми. Чуть ли не каждый день он пронесётся по коридорам здания, где помещаются организации фабрики, сделает замысловатый тур в комнатах правления, пронесётся по корпусам фабрик. Вид сделан. Работа стоит.

Несмотря на его подвижность, суетливость, он так же ленив и неработоспособен, как и Левкоев. Над собой они совершенно не работают, политически страшно отстали, от производства оторвались. В результате всего этого — спячка фабкома, небрежно преступное отношение к рабочим предложениям. Проблема перестройки профработы ими не осмыслена и игнорирована.

После этого он перешёл к политической оценке этого дела и закончил свою речь словами:

— Таких оппортунистов надо жестоко карать.

После него произнес краткую речь Когтев.

Он призывал общественность крепко запомнить этот урок и впредь быть внимательнее к работе фабкомщиков.

— У нас совершенно нет контроля над их работой. Вот, бедельники разваливали работу фабкома в течение многих месяцев, мы это просмотрели, — так указывал он и вновь призывал наладить общественный контроль и проверку работы.

Приговор — полтора года принудительных работ Левкоеву и год Жижину — рабочие одобрили грохотом аплодисментов.

Второй процесс — над Похлескиным и Смирновым — состоялся через пять дней. О процессе опять писали в газетах, и Норовкову пришлось для вырезок занять новую тетрадь.

Приходили слушать это дело городские писатели и поэты.

Линьков, сменившись с работы, прибежал в зал и сразу заметил Венкова и Головлева. Невыразимое любопытство и тяготеющие к этим людям привлекли Линькова к ним; он поздоровался и сел рядом с ними, чувствуя, как в нем поднимается трепет и головокружительная сладость бродящих в нем творческих возможностей.

Линьков прислушался к их разговору и застыл. Он не про-

пустил ни одного слова, ни одной интонации, и их разговор запечатлелся в его свежей памяти в точной подробности, удивив его своей странностью.

— Я признаться, не люблю тебя, — говорил Венков Головлеву. — Ты в душе мелкий, низкий авантюрист, замаскированная от пристальных глаз времени богема и лежебок.

Венков посмотрел ему спокойно в глаза и продолжал ровным, режущим своей холодностью, голосом:

— Я знаю — ты талантлив, но ты свой дар все время держал по своей лени и недомыслию почти в первобытном, так сказать, состоянии; ты внуши себе, что твой талант будет на вершинах русской литературы полыхать самосильно. Но вместо этого ты видел только жалкие вспышки его.

Венков передохнул и заговорил быстрее, с ноткой искренней злости:

— И еще противен ты мне этим самым... восточно-славянским безволием, растяпистой созерцательностью и отсутствием силы воли для претворения в искусство своей талантливости.

Венков замолчал и осмотрел всех в зале каким-то косым, отдаленным взглядом, будто он смотрел уже на все это много раз, а теперь залез на высокую гору и вновь смотрит, чтобы создать координированное окончательное впечатление.

Линьков заметил: в этой небрежности его взгляда кроется верное критическое внимание и решительность в выборе материала.

«Этот пролезет, — подумал Линьков, — от него так и прет уверенной силой и настойчивостью».

— Это замечательно, — отозвался Головлеву, — во всем этом есть доля правды, у тебя наметанный глаз. Но надо сознаться, без всякой мести за твое признание, я не меньше ненавижу тебя за твою возмутительную мужицкую хитрость и неуловимость. В трудном месте ты можешь стать вдвое меньше и выскользнуть, даже локтем не задев никого. Ты можешь отделаться хитроумной шуткой и этим разоружить наседающих на себя... Ты никогда не бываешь искренним, всегда ты играешь с пользой для себя... Одним взмахом мысли ты рассчитываешь, что тут для тебя выгоднее — тяжелая мудрость, колючее ехидство, скрытый юмор, или эффектно-лирическая пассивность. В своем творчестве ты рационалистичен, тоже как хороший мужичок, у которого всякая веревочка к месту... У тебя нет незапаханных пустырей... Темы, записи у тебя не залеживаются — все всучено в строчку.

«Этот кроет слабее», — отметил Линьков.

— Ты никому не доверяешь, — продолжал Головлеву, — и живешь по шестнадцатой заповеди: нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи.

Венков зевнул, в вялом отрицании мотнул головой:

— Что я скомпанованный и уверенный — это верно, а остальное все — твое творчество, художественный вымысел.

— Ну, конечно, — обиженно протянул Головлеву, — разве тебя ужмешь!

— Ну тогда зачем ты со мной тянешь знакомство? Брось! Раз не веришь в искренность даже в этом пустяке.

— Не хочу бросать, ты, чорт, — талантлив... интересен.

— Ну вот. Сиди и слушай, — бросил Венков, вписывая в записную книжку фразы одного из свидетелей: «дочь у него под шляпкой ходит» и «сдается мне, пришла бы тут ему скороспелая смерть».

Головлев посмотрел с отвращением в его записную книжку и, поморщившись, отвернулся.

Потом говорил общественный обвинитель Каленов:

— В настоящее время пролетарское литературное движение пополняется новыми значительными кадрами рабочих-писателей, приходящих в литературу непосредственно от станка, с фронта борьбы за ситец, за металл, уголь, машину, электричество.

Пролетарская литература, являясь выражением классовой практики, не только дает большие полотна, не только отображает и зовет, но и бьется в каждом уголке социалистического строительства в борьбе с прорывами, с рвачами, лодырями, с ленью, с грязью, со старым отношением к труду...

В ответ на вылазку чуждого элемента рабочие нашего текстильного комбината организовали восемнадцать ударных бригад...



До кружка доходили через Челнокова и редкие статейки Чирканского в «Краевой газете», что писатели и поэты города перестраиваются! пишут очерки, выезжают на фабрики и заводы, выступают в обеденные перерывы и призывают ударников в литературу.

И вот однажды девушка из ТНБ, пробегая мимо комплекта Линькова, завернула к нему и прокричала ему на ухо:

— Писатели идут!

«Интересно, кто это?» — подумал Линьков и стал смотреть в ту сторону, откуда прошла девушка из ТНБ.

И вот вскоре показались писатели. Впереди шли Венков и Головлев, за ними плелся Чувилькин.

Линьков посмотрел на их растерянные, приниженные лица и злобно повеселел.

«А-а, черти, сморщились! Так вам и надо. Это вам не лирика».

Ткацкий цех грохотал в своем обычном будничном тоне, рабочих этот шум не угнетал, они привыкли и как бы не воспринимали его; посторонних же этот грохот оглушал и сбивал с настроения. Венкову на миг вспомнилось, что эти тысячи станков, запертые на веки-вечные в эти стены, устроили бунт и рвутся вон отсюда.

Головлев, одетый в меховую тужурку, то и дело отирал пот, а в это время его подсознание строило образ, что он в тропиках, в первобытном девственном лесу — что напоминали собой приводные ремни, как лианы, рычаги, каретки и многочисленные колонны, подпирающие потолок, — смотрит бой черных стад динозавров или там каких-нибудь ихтиозавров.

Чувилькин мысленно описывал ткацкий цех, шептал про себя: «Пели ремни, звенели приводы, полотно тянулось, как белая тучка, челнок шмыгал, как воробей, свивающий гнездо».

Венков, увидев Линькова, обрадовался ему, как оазису в пустыне.

Растерянность и оцепенение его лица заменилось просящей ласковостью.

— Ты что тут делаешь? — спросил он и не услышал своего голоса, только будто перед его лицом что-то тихо прозудело.

Линьков по губам понял его вопрос и крикнул ему на ухо:

— Подмастером на комплекте работаю.

В это время Головлева ударил в руку вылетевший из ближнего станка челнок.

Головлев в испуге метнулся к окну.

— Не бойсь, не убьем, — крикнула ткачиха, подбирая челнок.

Линьков не мог сдержать смеха. Заметив это, Головлев нахмурился.

— Ну, чего тут у тебя хорошего? — изо всех сил сказал Венков.

Линьков нагнул его голову и стал кричать на ухо:

— Функционалку вот с Каленовым организовали...

А грохот ткацкого цеха, казалось Венкову, нарастал, торжествуя и властвуя, сдавливал голову и громил уши.

Линьков кричал ему на ухо, и все-таки он еле-еле разбирал его слова.

Венкову в тот миг вспомнилось, что так было слышно в телефон в одном сельсовете, когда он разговаривал с городом за восемьсот верст...

— Функционалки у нас четыре гнезда, — передавал он, — второй месяц над функционалкой бьемся. Целая эпопея. Когда только организовали, функционалка на 50 процентов снизила выработку. Нас насмех подняли. Совсем было опозорились. Потом приложили все силы, и теперь наша функционалка заняла свое место навеки... Первое гнездо — выработка 102,2 процента, брака — 0,26 процента. Пустяк брака. Почти ничего. Второе с такими же показателями. Третье — выработки — 103,4 процента, а брака всего-на-всего 0,07 процента. Четвертое — выработки 106,4 процента, брака 0,2 процента. Я все точно помню: раз пять об этом уже с докладами на разных собраниях выступал. А функционалка — это знаешь что такое? Специальность на функции разделена... Или, правильнее сказать, это дифференцированный труд... Раньше ткачиха все это делала одна: и пускала станок, и меняла початки, и заводила отрыв, и прочее. Теперь у четырех ткачих 25 станков: одна заводит, другая пускает, третья меняет початки и так далее. Теперь мы с Каленовым организуем функционалку среди подмастерьев. Бригада в 7 подмастерьев будет работать на комплекте в 330 станков.

— Пойдем, я вспотел весь! — кричал Головлев, схватив Венкова за рукав. — Здесь нас в шубах кондрашка хватит. Экватор!..

Венков выхватил из кармана блок-нот и карандаш, бормоча:

— Это удивительно интересно... Я все запишу...

— Пойдем, — тащил его Головлев. — После этой прогулки по корпусам хорошо бы белье сменить.

— Раздеться бы надо, а нас видно нарочно не предупредили, чтобы потешиться, — недовольно бормотал Венков.



Овинин, самовлюбленно, по-старинке относившийся к своему творчеству, призыв ударников в литературу встретил неверчиво и еще больше замкнулся.

Он принял это историческое явление как ущемление, как вытеснение себя из литературы, из печати, найдя, что отношение редакций к его творчеству, полному общих мест и мутной лирики, стало хуже. Головлев, Венков хоть внешне показывали, что они перестраиваются, а Овинин даже на это не пошел и совсем перестал посещать литгруппу.

О нем уже стали забывать, но в то время кто-то пустил слух, что Овинин совсем перебрался в Москву и у него приняли в печать первый том стихов. Некоторые из старых членов литгруппы внутренне завидовали ему и в разговорах между собой прикидывали, толста ли будет его книга и сколько он за нее огребет.

Прошло месяца полтора. Его друзья, просматривая московские журналы, толстые и тонкие, удивлялись, почему это Овинин не продвигает в них своих стихов; неужели так велика сумма денег за книгу, что ему нет охоты заниматься мелкими заработками. И вот на фоне этого удивления перед успехами Овинина и почтения к его якобы необыкновенно преуспевающей особе и появляется заметка в хронике городского дня краевой газеты:

«В клубе фабрики «1 Мая» (число, месяц) проводится 10-летний юбилей литературной деятельности поэта Вячеслава Овинина. Порядок чествования намечен следующий: 1) приветствия партийных, комсомольских, профсоюзных и литературных организаций, 2) доклад о творчестве поэта, 3) чтение избранных произведений, 4) вручение подарков».

Почитатели его, завидовавшие его московским успехам, злобно повеселели: жив Вяча Овинин и попрежнему плавает в старых водах.

Наведались к Чириканскому и спросили, какое участие принимает ассоциация в этом торжестве. Чириканский смог высказать по этому поводу только возмущение...

Литературный юбилей справлялся в городе первый раз. Для всех начинающих, знавших близко Овинина, это было в особенности любопытно. В клуб фабрики им. 1 Мая на юбилей пришли Венков, Головлев, Чувилькин, Палашкин и много кружковцев. Торжество открыл председатель правления клуба Скудра. Первым делом он зачитал список президиума, в который входили он — Скудра, белобрысый и долговязый ученики Овинина, заведующая библиотекой Черносмородина и сторож клуба Сипатрыч, как представитель рабочей массы.

Молодежь, набившаяся в зал, та самая молодежь, которая каждый вечер гомонит в клубе, взрывом аплодисментов одобрила этот список и президиум разместился за столом.

Завклубом Скудра первым делом сказал вступительное и вместе с тем приветственное слово.

— Товарищи, — сказал Скудра, — данный поэт товарищ Овинин, несмотря на свою занятость и неимение времени от постоянного писания стихов, несколько раз входил в контакт с нашим клубом.

Эта связь воцарилась еще с того времени, когда товарищ Овинин написал нам пьесу «Станки и голуби» в двух действиях: первое действие было написано в рифму, второе — без рифмы. Эта пьеса была разыграна нашим драмкружком два раза: первый раз платно, второй раз — для собрания домохозяек данного района — бесплатно. И кроме этой пьесы, он еще состоит читателем в нашей клубной библиотеке. Как, значит, поэт Овинин живет неподалеку от нашего клуба в данном районе и он нам доказал, что уже десять лет пишет стихи, то мы и надумали устроить ему юбилей. Я приветствую товарища Овинина от имени правления клуба фабрики им. 1 Мая и желаю ему полного собрания сочинений его стихов.

Поэт товарищ Овинин десять лет своего письма отдал советской власти, и все стихи, какие он сотворил, были пропущены в газетах и журналах, как он нам, значит, показывал вырезки, каковые наклеены в толстой тетради, и она почти наполовину залеплена его стишками... Вот какие у него, товарищи, имеются достижения. Пожелаем ему, товарищи, успеха на поприще пера и вдохновим его сегодня на второе десятилетие его стиховой работы.

Молодежь, чтобы потрафить своему любимому лохматому, очумелому завклубом, грянула в ладоши.

Кружковцы сидели сосредоточенные и кроткие, благоговейно глядя на Овинина и внимательно слушая приветствие.

Только нечто в роде изморози появилось на лице одного бывалого Линькова. Венков сидел на стуле боком, распотелый от смеха. Головлев же, отличавшийся редкой неспособностью воспринимать юмор, сидел скучая.

— Слово для приветствия товарищу Цыгаркину, — провозгласил Скудра.

На сцену вышел небольшого роста жирный и, даже издали, заметно, грязный человек.

— Уважаемые товарищи, — медленно и гордо обратился Цыгаркин к публике, — разрешите мне сделать здесь приветствие от имени объединенного месткома Союзтранса.

Цыгаркин сделал крупную паузу, расставил кривые ноги и, гордо выправив свою круглую фигуру, высокомерно заявил:

— Наш Союзтранс не отстает от всеобщего темпа... Обоз ломовиков увеличился на 21,7 процента, ассенизационный обоз увеличился на 36,4 процента, но и то в связи с ужасным ростом красного города всех потребностей населения обслужить не в силах.

Что же касается уважаемого товарища поэта, то мне поручено приветствовать его как пролетарское перо, каковое неустанно пишет для рабочей массы... Ну, что ж еще. Да-а... Многие наши рабочие знают товарища Овинина в лицо и очень довольны его душевностью, как он всегда в обращении с приветом к вам.

Наш местком Союзтранса приветствует товарища Овинина и желает, чтобы он и впредь так складно складывал стихи.

Цыгаркин поклонился, метнув жарким взглядом в девушек, и повернувшись, пошел за кулисы.

Приветствия на этом кончились.

С докладом о творчестве поэта выступил заведующий конным двором фабрики им. 1 Мая Шельменков.

Вначале он бойко заговорил о сложной и трудной работе писателя, но потом спутался, смущенно замолчал и, вытащив из кармана тетрадь, стал читать доклад по записи.

— Этот доклад ему сам Овинин написал, — услышал Венков за своей спиной.

Он обернулся и увидел двух насуспенных парней. Венков вступил с ними в разговор и вскоре кое-что узнал.

— Как это тут оказались Цыгаркин, Шельменков?

— Шельменков — большой приятель Овинину по голубям, а Цыгаркин у Шельменкова на квартире стоит. А Скудру Овинин опутал потихоньку — вот и вышел юбилей.

После короткого перерыва декламировали стихи Овинина его ученики: первым белобрысый, за ним долговязый и потом читал сам виновник торжества, празднично одетый и строгий в своем величии.

В конце Скудра предподнес юбиляру лыжи с палками. Молодежь аплодировала и хохотала.

Когда шум стих, поднялся Сипатрыч.

Клубная молодежь встретила своего любимца нестерпимым треском аплодисментов.

Сипатрыч, держа на уровне лица тремя пальцами желтый деревянный портсигар, сказал смущенно:

— От рабочего класса нашей фабрики отдаю Вицеславу Овинину этот процыгар, какие я сам от скуки режу.



Линьков за всю зиму ни разу не пропускал собраний городской литгруппы. Правда, это отнимало очень немного времени; группа собиралась два, редко три раза в месяц.

На этих собраниях Чириканский тоном ортодоксальнейшего марксиста докладывал об очередных ошибках московских критиков, беллетристов, профессоров, проводил заранее приготовленные им самим резолюции, а потом подтягивал местных апповцев. На этот раз он напал на Овинина, устроившего себе юбилей. Овинина по обыкновению на собрании не было, но несмотря на это Чириканский говорил неистово, при этом он по присущей ему манере то быстро ходил, то живописно садился на стол, то ставил правую ногу на табурет, то вдруг выпрямлялся и, заложив руки в карманы жилета, говорил...

Утомившись, он выпил воды, и все облегчено вздохнули, решив что его речь кончилась, но ошиблись. Чириканский после этого свирепо и таинственно промолчал и вновь начал говорить. Собрание утомленно притихло, увидев, что это следует второй раздел его речи.

Теперь он насел на Чувилькина. «Из пушки по воробью», мелькнуло в голове Венкова, и ему хотелось смеяться, но обвине-

ния были так тяжелы, выводы Чириканского так страстны и решительны, что смехок его обратился в жалкую гримасу да так и повис в этом виде на лице. Через несколько минут Венков совсем смешался. Чувилькин в сознании его вслед за речью Чириканского рос, креп, превращался в хитрого матерого классового врага, осмелившегося на ловкую, но умно замаскированную вылазку.

Взоры всех уже по несколько раз шарили по фигуре Чувилькина. Чувилькин горел.

С его лица, пробираясь меж угрей, текли мутные струйки пота. Он не знал, куда направить свой совершенно растерянный взгляд. Руки его метались по карманам и где-то настигли гребенку; он воспользовался ею, чтобы овладеть собой, и принялся причесываться. Он теребил волосы пять, десять минут, и не видно было этому конца.

...Чувилькин принес Чириканскому для альманаха большое стихотворение, которое называлось «Поэма об очереди».

Прочитав стихотворение, Чириканский пришел в некоторое возбуждение и, играя желваками своего лица, несколько минут думал.

— Пойдет? — спросил наивный Чувилькин.

— А мы посмотрим, — ответил Чириканский и бережно, каким-то любовным канцелярским приемом, сложил стишок в чистенькую палочку.

В этом стихотворении насчитывалось семьдесят две строки, а в среде местных поэтов было принято все стихи, имеющие свыше сорока строк называть поэмой. Честолюбивый Чувилькин с первых своих шагов в поэзии возлюбил этот обычай.

В начале поэмы обрисовывалось абстрактное человечество, вставшее в очередь у магазина за неизвестным товарами с трех-четырёх часов утра. Дальше в поэме был представлен серый зимний пейзажик и на фоне его шел рифмованный пересказ мещанских, колоритно обывательских сетований, стенаний, жалоб и угроз.

В двух последних четверостишиях поэт активно вмешивался в эти разговоры, прикрикивал на мецан и награждал их презрением.

— Это самый излюбленный прием, — заговорил Чириканский, — классового врага в литературе: приготовить поэму помоев, а чтобы этого не заметили и пропустили, чтобы, значит, беспрепятственно вылить ее на голову советской общественности, полагается прикрыть ее красным листочком последнего четверостишия. Ведь в этой поэме вся сила художественной изобретательности положена на изображение обывательщины: сделано это сильно и ярко, а что этому противопоставлено? — в конце приведен старый, уже немощный лозунг, выраженный сухо и вяло.

Чириканский призывал дать решительный, крепкий отпор этой, по его мнению, вылазке воинствующего мецанства и выбросить из рядов Раппа и Овинина и Чувилькина.

Первым выступил Маракулин. Дрожа от волнения и заикаясь, он повторил запомнившиеся ему места из речи Чириканского и с восторгом солидаризировался с его предложением.

Вторым взял слово Догадкин, сверстник и приятель Чувилькина.

Предложение Чириканского он поддержал и осмелился заявить, что этот вопрос следовало бы поставить раньше: перерождение Чувилькина и его переход на сторону классового врага начался давно, так как Чувилькин еще с месяца тому назад читал ему, Догадкину, стихотворение, в котором осмеивался плохой обед в общественной столовке. «Не напечатают», — сказал Догадкин, на что Чувилькин будто бы отвечал: «Ну, это для себя, а для печати напишу стишок с «красным флагом», с «скорым шагом».

— Ага, — радостно воскликнул Чириканский. — Значит, со стихами, написанными для себя, он наконец решил высунуть в печати.

Тут взял слово Венков.

— Здесь перед нами товарищ Чириканский, — заговорил намеренно спокойно и вяло Венков, — больше часа крошил Овнина и Чувилькина, а под конец предложил выбросить их из наших рядов. Это дело не шуточное. Давайте посмотрим, верны ли его выводы.

Защищать Овнина я не собираюсь, так как этот человек сам давно оттолкнулся от нашей организации, имея давнюю связь с «Перевалом», но о Чувилькине разрешите поговорить. Он пришел к нам года два тому назад с фабрики с парой стихов, отдающих свежей непосредственностью. Мы стихи его быстро напечатали, автора их быстро захватили. Он возомнил о себе и стал творчески راستи среди нас, а мы его воспитывать. Кто это мы? Это те, кто последние годы представляют собой краевую литературу, — это Чириканский, Головлев, Венков, Овинин, Хлопов, сюда же входят Челноков и Норовков, но эти люди несколько иного разряда.

Чувилькин — сын рабочего, фабзяц, потом ткацкий подмастер, теперь выдвинут в ТНБ фабрики. Никакого глубокого воспитания мы ему не дали. Только он, глядя на нас, почаял, что в творчестве надо брать вдохновением, а в мировоззрении достаточно самобытного, ползучего эмпиризма, а это мировоззрение такое легкое, что само сдуру наматывается. Он научился у нас рисоваться, корчить из себя поэта, мучиться над писанием негодных стишков и с закатыванием глаз восхищаться классиками. Вот, кажется, и вся программа воспитания. Образование было закончено, и мы потеснились и уступили ему должное место в своей высокой кампании как равному, достаточно догнавшему нас. Кроме Чувилькина так у нас воспитывались Маракулин, Догадкин, Позднышев и другие, но надо заметить, что они оказали меньшие успехи по части принятия нашего образа и подобия. Между прочим Маракулин оказался всех хитрее из них: во время призыва ударников в литературу, он прикинулся совершенным незнайкой и новичком, записался вновь вместе с ударниками в литературу, так сказать, родился второй раз и начал свою литжизнь сначала. Но ему трудно скрыть нашу выучку как не легко выдать себя, конторщика, за чистокровного рабочего-ударника.

Пришло время — призвали ударников в литературу и нас двинули их воспитывать. Разумеется, наравне с нами и Чувилькин,

Чириканийский ликовал: призвано по городу двести ударников, организовано семь кружков... Мы беспрекословно двинулись в кружки, полагая, что мы все можем, потому что у нас вдохновение, старое наше оружие, в роде какого-то самопала.

Зима на исходе. Что мы дали за это время ударникам? Чему мы их учили? Я не знаю досконально чему, но только догадываюсь... и предлагаю произвести обследование работы всех кружков. Да и чему мы можем научить, — мы, прошедшие скверную идеалистическую выучку у попутчиков, мы, люди без марксистско-ленинского мировоззрения, писатели, навхатавшиеся верхов. Нас самих учил Чириканийский, который во всех отношениях сам не выше нас.

— Можете не касаться личностей, — в замешательстве крикнул Чириканийский.

— Я не о личности... я о руководстве. «Наше руководство» в лице Чириканийского ни разу не заглянуло в кружки, не поинтересовалось, как нам там работается. «Наше руководство» кружка на предприятии себе не взяло, чтобы выглядеть перед нами непогрешимым микадой, а то вдруг да кружок развалится. Это черная работа, там в вождя не поиграешь, там выворачивай нутро, а чего перед ними выворишь, коли оно пустое. И вот теперь давайте подумаем: за что же мы будем выбрасывать Чувилькина. Правда, его стихотворение насквозь обывательское, возмутительно хвостистое, но ведь этот рабочий паренек, как я уже упоминал, был попорчен; его надо не выбрасывать, а воспитывать.

Надо выделить бригаду и обследовать кружки и в конце-то концов оздоровить, орабочить руководство. У нас же хорошие ребята есть из ударников, только их не выдвигают к руководству. Ну да об этом сами литкружковцы лучше меня скажут.

Чириканийский медленно поднялся, обвел всех влажным, но вместе с тем радушно снисходительным взглядом; на лице его в это время было как бы написано: «Этот человек совершает величайшее злодеяние, и я его сейчас покрою».

— Венков делает решительный ход, — заявил Чириканийский, — он сначала навел ужасную панику и под прикрытием этой паники протащил возмутительное примиренчество, он предлагает оставить в рядах Раппа явно негодный, разложившийся элемент в роде юбиляров Овининых и контрреволюционных подголосков Чувилькиных. И мало того, своей паникой разлагает наши с таким трудом сколоченные кружки на предприятиях. Но этот ход ему не удастся, мы дадим примиренцу и паникеру Венкову решительный отпор.

— Не наводи казенное благополучие, — вставил Венков.

Первым из кружковцев взял слово Линьков. Он смело ответил Чириканийскому, что ни паникерства, ни примиренчества в выступлении Венкова он не усмотрел. Обследовать работу кружков, посмотреть, как учатся двести ударников, совершенно необходимо, а то что-то ничего не слышно об этих кружках.

После него выступил Челноков. Он дипломатично, не упоминая ни единым звуком о докладе Чириканийского и злом выступлении Венкова, как будто он ничего не слышал, твердо высказался,

что он тоже стоит на той точке зрения, что Чувилькиных надо воспитывать, а не выбрасывать, и привел в пример Линькова, который одно время тоже «разложился», пораженный индивидуализмом и обывательщиной, но потом, будучи втянут в здоровую работу кружка, стал активнейшим кружковцем и сделал большие успехи не только по части литературной учебы, но и в производственной работе. Так, он, ткацкий подмастер, является одним из организаторов функционалки на фабрике и теперь уже работает инструктором дифтруда. Овинина же надо вызвать и выяснить его политическое лицо и творчество последнего времени.

После него кружковцы высказались в его же тон, бросая боязливые намеки на неблагополучие в кружках. Чириканский, видя провал своих выводов, решил выйти с меньшим позором и предложил в ближайшее время поставить доклад о творческом лице Овинина и Чувилькина, а потом на основе этого и решать вопрос о их пребывании в Рапп.

— Завилял! — громко сказал Линьков.

Чириканского передернуло, и он, ерзнув, крикнул на председателя:

— Призови к порядку этого дурака!

— Внук Дон-Кихота вышел из себя, — успел вставить Венков.

Никто не засмеялся. Всех удивляло, почему Чириканский, развивая явно несостоятельные положения, вложил в них так много горячности и «общественного» рвения.

Из уважения к этой страстности и искренности, из уважения, смешанного с чувством жалости, его предложение было принято. Справившись после этого со своей растерянностью, Чириканский метнул в сторону Венкова взгляд, полный возмущения и ненависти, и бросил угрожающе:

— А по поводу внука Дон-Кихота мы поговорим с вами в другом месте.

— Мои доказательства всегда со мной. Буду рад, — галантно спаясничал Венков.

В бригаду для обследования работы литкружков выделили Челнокова, Линькова, Догаджина и двух представителей райкома партии.



Кружок Венкова на фабрике «Пролетарская победа» до сих пор считался одним из лучших: собиралось на занятия от 14 до 20 человек, занятия не срывались.

Бригада выявила, что на кружке ставились такие вопросы: «Литература и классовая борьба», «Роль литературы в социальном строительстве», «Творческий метод пролетарской литературы». На кружке разбирали «Бруски», «Разгром», и «Рождение героя».

По отзывам кружковцев руковод часто скатывался от основного вопроса к забавным местам истории литературы, анекдотам и секретам творчества того или иного писателя. К этому Венков питал давнюю страсть; во всех разговорах о литературе он неизменно садился на этого конька... Немудрено, что он как-то незаметно для себя заполнил этим всю жизнь кружка.

О задачах пролетарской литературы в реконструктивный период, о творческом методе пролетарской литературы и о многом другом, самом насущном, здесь ничего не знали, но зато хорошо помнили неумолимую заповедь Чехова, что ружье, повешенное автором на стену жилища своих героев, в дальнейшем развитии рассказа должно палить;

...что Гоголь писал свои вещи по старым, уже использованным другими писателями сюжетам;

...что сюжет «Ревизора» дал ему не Пушкин, а он взял его из комедии Квитки «Приезжий из столицы»;

... что Джонатан Свифт, автор «Путешествий Гулливера», всю жизнь был попом;

...что Сервантес, автор «Дон-Кихота», два раза сидел в тюрьме;

... что самый сюжетный в мировой литературе новеллист — американец О. Генри в трудовые годы своей жизни был вором;

... что Лесков скупал старые архивы и использовал их для своих вещей;

... что Александр Дюма работал с десятками помощников-писателей, которые работали на его имя;

... что Мопассан десять лет учился у Флобера.

При этом дело происходило будто бы так (бригада записала это в передаче одного кружковца):

«Написав вещь, Мопассан тащил ее своему учителю на оценку. Прочитав ее, Флобер отдает обратно автору: «отставить», «слабо», и рассказывает, что и где плохо. Мопассан подумает и видит, что верно плохо. Придет домой, посмотрит еще раз и тут же изорвет.

И вот через десять лет Мопассан принес ему рассказ «Мыльный пузырь». Тот прочитал и оцепенел... Потом очнулся, выпил воды, пожал руку и сказал: «Ну теперь валяй, печатайся, совсем ты поспел». Мопассан с тех пор и пошел, и пошел, и дул по три книжки в год, а через несколько лет переплюнул и самого Флобера».

Можно было заполнить еще несколько страниц «литературной ученостью» кружковцев, воспринятой от Венкова.

Кроме этого кружковцы знали, кого из писателей убили на дуэли, какие писатели повесились, какие утонули, какие сошли с ума.

В кружке Головлева состояло пять девушек-ударниц из прядильного и ткацкого цеха, теплотехник, учетчик товара и два паренька из слесарной.

На этой фабрике работали шесть тысяч рабочих, в кружок сначала вступили сорок человек, но после первых занятий так много отсеялось, что остались только вышеупомянутые восемь человек.

Головлева всю жизнь занимали только стихи. Даже классическая проза для него была «страной неизведанных гор». Из всей современной литературы он читал только две вещи: «Разгром» и «Сердце»; и то только потому, что они были невелики, а «Бруски», «Лопти», «Тихий Дон» и многие другие его отпугивали одним только своим пухлым видом. Но символистов, акмеистов, Сельвинского, Пастернака он покупал, собирая ретиво, и от них отталкивался.

В самом начале жизни кружка Головлев ставил два доклада: о Демьяне Бедном и о пролетарской поэзии. На этом он и выдохся. Дальше разбирали все, что знал о поэзии Головлев, и потому кружковцы особенно хорошо знали о символистах, адамистах, акмеистах и т. д.

Большая половина его кружковцев писала стихи, а другая очень интересовалась стихами, записывая все тронувшее их в свои альбомчики.

Линьков «под'ехал», по его выражению, к одной девушке и выпросил у нее посмотреть ее тетрадку.

Офелия пела и гнула,
И пела, шлетая венки,
С цветами, венками и песней
На дно опустила реки.

— шелестел Фет на первой странице. На следующей колдовал Бальмонт:

Есть поцелуи — как сны свободные,
Блаженно-яркие, до иступления,
Есть поцелуи — как снег холодные,
Есть поцелуи — как оскорбленные.

Дальше ахал Саянов:

Ах, томик помятый!
Ах, старый наган!
Ах, годы прославленных странствий!
Еще пробираются через туман
Огни левобережных станций.

В этой тетрадке можно было прочесть стихи Ходасевича, Гумилева, Блока, Есенина, Белого, Уткина, Жарова, Тихонова.

Особенно Головлев был поражен Гумилевым и невольно много толковал о нем.

«Заблудившийся трамвай» Гумилева кружковцы знали наизусть, вместе с «Магдалиной» Жарова, которую Головлев считал лучшим произведением этого поэта.

Но надо отдать Головлеву справедливость: он старался по мере своей политической насыщенности преподавать Гумилева в достойном свете.

— Гумилев — буржуй и белогвардеец, — говорил Головлев, — учиться у него надо только форме. Он был сын своего класса до мозга костей, открыто шел на рабочий класс и знал, что от этого класса получит себе мечь... Так он члпророчил себе смерть...

И при этом он читал его стихотворение «Рабочий», где есть строки:

Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.
Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной.
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной...

Количество членов кружка, которым руководил Чувилькин, установить не удалось. Вначале записалось 36 человек, но потом собирались по-разному, то придут 10 человек, то 2, то 16, то 3. Кружок занимался раз в декаду.

Придя на занятие, он читал наиболее ему понравившуюся статью из «На литературном посту» или отрывок из брошюры, по-

том просил задавать вопросы и высказываться. Закончив эту процедуру, он читал свои новые стихи. После него кружковцы читали свои произведения.

На фабрике, куда был прикреплен Палашкин, кружка фактически не было. Он отыскивал трех отсталых рабочих в своем вкусе, которые теперь с ним были великие друзья и на квартирах у которых он был нередким гостем. Эта фабрика во время смотра получила рогожное знамя. С демонстрации, с площади, где его вручили рабочим этой фабрики, нес рогожку директор и после этого слег на целую неделю.

Через два месяца фабрика с 68 процентов подняла выработку выше ста и была зачислена в список кандидатов на переходящее знамя первенства.

Палашкин сводил своих товарищей в краевое отделение Госиздата, где и был ими подписан договор на книжку в три печатных листа — «От рогожки к ордену». И вот кружок Палашкина все свое время и энергию отдал для работы над этой книжкой. Все написанное зачитывалось на общем собрании авторов. Чтение трогало Палашкина до глубины души.

— Эх, чудашко, как чисто ты тут завернул! — восклицал Палашкин, слушая очерк. — Эх, чудашко, хорошо... Ну до чего же пролетарское!..

Когда по подсчету Палашкина набралось три листа, он отдал все это на машинку, а затем отнес в издательство, которое два раза просматривало и два раза возвращало рукопись для доработки и исправлений.

Когда бригада пришла обследовать кружок, рукопись в третий раз была возвращена для коренной переработки. Палашкин поносил издательство.

— Обратите внимание, — говорил он бригаде, — они спрашивают с нас как с Пушкина. Слышь, очень много лишнего и недоработанных мест. Что мы им — классики что ли? Мы — пролетарские писатели... Мы ударники...

Они зашпыняли нас. Я завтра в крайком пойду жаловаться.

Челноков прочитал книжку и нашел, что издательство придирается не зря.

Палашкин, будучи политически бесхребетным человеком, чтобы нагнать три листа, перегрузил книжку бытовщиной и мотивами чрезвычайно временного порядка.

Там до сих пор сохранился очерк о том, как один ударник целый час отдыха потратил на стояние в очереди за детской обувью. В другом очерке приводился длинный разговор ударника с бабушкой, которая довольно сочным языком приводила бойко иностранные хвостистские базарные аргументы.

Дела же производственные были освещены очень поверхностно. Рабочие, выступившие против ударничества, вдруг на другой же строчке становились неузнаваемыми. То и дело мелькали такие переходы: «Спустя месяц после этого разговора Дурцев стал руководителем ударной бригадой и поднял выработку на 108%». Как это случилось, что повлияло на рабочего — неизвестно.

Палашкин давал своим соавторам указания в таком роде:

«Ты, чудашко, в этом месте подмажь покрепче», или «Ты, чудашко, этого Диму разрисуй с выражением».

Челноков зло отчитал Палашкина за его: «что мы им — классики что ли?»

Хлопов руководил литкружком на загородной фабрике «Заречная коммуна». Чириканский послал его туда в наказание. Завклубом объяснил бригаде, что кружок развалился еще месяц тому назад. Хлопов влюбился в ткачиху-ударницу, члена литкружка, сильную, боевую девушку и, когда ее выдвинули руководить работой среди женщин в подшефную фабрику коммуны, уехал с ней. Чем занимался кружок за время своего существования — завклубом не мог сказать, а Хлопов никогда не давал в правление никаких отчетов.

Когда возвращались с последнего обследования, Линьков сказал Челнокову:

— Видать, только один наш кружок мало-мало похож на дело: и связь с производством есть, и состав на самом деле ударный, и некоторые писать начинают надежно. К примеру Когтев. Толковые рассказы пишет парень.

На другой день Челнокова вызвали в культурноп крайкома, а вскоре Чириканский с руководства был снят... Заговорили о чистке.



На процессе Жижина и Левкоева во время перерыва в буфете старик-мастер Софронов, присаживаясь рядом с Каленовым, сказал ему сочувственно:

— Вот тебе и изобретенье! Ухнуло... выходит, значит, изобретай сызнова. Несчастлив ты, дружок.

Каленов, польщенный таким высоким вниманием, сразу размяк и пожаловался ему:

— Навой моей конструкции позволял дорабатывать основу до конца. Степан Васильевич, ты подумай! Если ввести мой навой на всех фабриках, за год мы получим миллион лишних метров мануфактуры. Это, Степан Васильевич, громадный подарок республике.

— Что и говорить, — отозвался мастер, — бо-ольшой кусок пропадает. Такое зло на эту шару... Про Шуру и Дьяволонка говорю.

— Ты, Степан Васильевич, говоришь: изобретай снова... — вступил в разговор подмастерье Кочнев. — У него голова молодая, с памятью, ему только вспомнить, написать и опять подать на рассмотрение.

Степан Васильевич в ответ на это авторитетно пробасил:

— Да чего же вспоминать?... Нечего вспоминать — черновики наверно остались, восстановить проект по черновикам — и вся недолга.

— Написать новый проект конечно можно, — ответил Каленов, — но уж очень, братцы, больно: три месяца ждал, и теперь вся жданка оказалась напрасной, качай сначала.

— Что же поделаешь, — ласково прогудел Степан Васильевич, — боль эта промижется, главное — не отступайся и подавай новую бумагу.

Этот разговор так зарядил Каленова, что он на другой же день принялся за восстановление проекта.

Проект был вскоре закончен и снесен новым людям в фабрике.



На производственной конференции ударников фабрики чрезвычайный интерес вызвал коротенький доклад инженера Серебрянского.

Это был старый, в сединах, инженер, исполнительный, пунктуальный работник в пределах своих обязанностей. Его ценили, относились к нему бережно, но неофициально считали консервативным в отношении общественной работы и до неповоротливости осмотрительным на разные нововведения и резкие повороты в работе тех или иных отделов фабрики. Но социалистическое соревнование, ударничество, сквозные бригады, весь этот океанский силы прибой рабочей инициативы освежил, взбодрил старого инженера, и он, не сделав ни одного парадного заявления о своем ударничестве, взялся за сверхдолжностную помощь производству.

Поворот к срастанию с рабочей массой и ее инициативой до того был нов в психике этого человека, что он взялся за дело осторожно, незаметно для других, чтобы не вспугнуть в себе теплое, жизнедеятельного ощущения невиданных на лице мудреной и стохильной планеты новых форм труда.

Некоторые рабочие вспомнили или по черновикам восстановили свои предложения и вновь подали их.

Секция инженерно-технических работников под руководством Серебрянского проработала все эти предложения в очень короткий срок. По этому поводу и выступал на конференции Серебрянский.

Говорил он тихо, скупо и оттого в зале стояла бережная тишина.

— Я и все мои коллеги по секции весьма сожалеем, — докладывал Серебрянский, — что к нам вместо восьмисот предложений попало всего-навсего около трех десятков. Те, которые дошли до нашего внимания, поразили нас. Чем? — напрашивается вопрос. Своей простотой и ценностью. — отвечаем мы. Возьму одно из любопытных и самых значительных из них — усовершенствованный навал Каленова.

До сих пор при доработке основы срезалось в конце метр, полтора и больше недоработанной основы.

Молодой ткацкий подмастерье предлагает особой системы навал, который позволяет дорабатывать основу до конца.

Сколько в этой истории с проектом видится внимания и любви молодого изобретателя к производству. Я очень ценю такую настойчивость и здорвую голову этого молодого рабочего.

Я уверен, что при теперешнем внимании к подготовке кадров мы сумеем выпестовать из него незаурядного инженера.

Для смычки инженерно-технических работников с рабочими

изобретателями я хочу позвать уверенную руку молодого изобретателя.

Лицо Серебрянского стало смущенно-торжественным, и он пробежал ласковым, растопленным взглядом лица сидящих в первых рядах. Ему казалось, что этот молодой ударник непременно сидит в первых рядах, сейчас встанет и с красным, запотевшим от стеснительности лицом подымет к нему — старому инженеру Серебрянскому.

Это момент должен быть ярким и значительным. В голове даже вертелась классическая фраза, вытасченная памятью из глухого уголка мозга: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил».

Наступили неловкие минуты.

— Он не смеет, — крикнул какой-то насмешливый молодой голос.

— Чего тут не сметь-то... в родной семье находишься, — раздраженно провозгласил Степан Васильевич, и еще чей-то старый голос добавил:

— Должен в трепете быть, раз тебе наука почтение оказывает. Дура...

В это время из задних рядов, где он сидел с Машей, стремительным шагом прошел Каленов.

На сцене состоялось пожатие рук.



В день отдыха у Линькова с утра появилось тяжелое, какое-то мутно-лирическое настроение из-за одной домашней неприятности. Он взял запыленную тетрадку со своими стихами и перечитал их. Показалось, что они написаны в незапамятные времена.

Парень не узнал в них себя, он устыдился их, все тут было хило, поверхностно, беспомощно. Кому это к чорту нужно! Но опыты, опыты... Без опытов нельзя. Надо же пробовать. Он взял новую толстую тетрадь в черном клеенчатом переплете и стал писать. Давно уже наседали на него исцарапавший всю его душу сюжет. Много дней Линьков прикидывал, вглядывался в него со всех сторон: выходило так, что этот материал стихом не возьмешь, он по силе только свирешой, властной вместительной прозе.

«Квалифицированный молодой рабочий (два года тому назад им окончена школа фабзавуча) Непутяхин, сын своих нестарых еще родителей (отцу например 45 лет, матери 40 или 42) с вечерней смены шел домой в полном одиночестве, пробиваясь сквозь густую весеннюю темноту. Под ногами звенел ледок застывших на ночь луж. Впереди и позади героя слышался смех девушек-работниц, как звон льдинок. Впереди его на расстоянии трех-четырех шагов шли двое пожилых рабочих. До Непутяхина доносятся отрывки их разговора. И вот вдруг он слышит в их разговоре упоминание имени своей матери. Он затравливается и на носках приближается к ним на шаг-полтора, напрягает весь свой слух, силясь не пропустить ни одного слова. Он сразу узнает рабочих и уже слышит каждую интонацию их голоса.

Рассказывает высокий дюжий слесарь Прияткин. Ячейка послала его с Непутяхиной для участия в слете колхозников в Китаевском подрайоне. Непутяхина где-то там в деревне отдалась ему. Прияткин со смаком, с издевкой рассказывает все подробности... Сын почувствовал себя в это время как погорелец в первые минуты сознания, что он лишился дома.

Он скитался часа два где-то за городом. В полночь пришел домой.

Одержимый ненавистным самому себе каким-то зоологическим любопытством, он зажег электричество. Какой-то внутренний голос подсказал, что это постыдно, но остановить себя не мог, оправдываясь искренней надеждой, что этот порыв любопытства поможет ему разобраться в тяжелой сумятице души. Родители спали в обнимку на широкой супружеской кровати. Металлические украшения и пишки струбелевой кровати блестели в свете электричества так ярко и весело, что, казалось, смеялись над ним и над снами. Ему стало еще больнее и он потушил свет.

В своей комнате он сел за книгу. Не читалось. Вспомнил, что следует сейчас поужинать, но есть совершенно не хотелось.

Он со злостью стащил с себя сапоги и одежду и ощутил некоторое умиротворение в душе, будто снял с себя вместе с одеждой и часть черных сомнений.

Он долго не спал, подстучала трогательная жалость к обманутому отцу. Мать представлялась в эту минуту чужой и непонятой. Снилось ему в эту ночь, что он живет в первобытном лесу, он ловец, силен, не знает никаких родителей... Вокруг его ползали и летали первобытные чудовища-животные и где-то в туманных отдалениях производили потомство.

Проснувшись, он вспомнил все подробности вчерашних мучений и движение вчерашней скверны возобновилось с новой силой.

Он выпил три стакана чая и вылез из-за стола, не допьющийся ни до одного куска.

Он не мог есть хлеб, сделанный руками матери, не мог проглотить ложку супа, приготовленного матерью.

Он ушел в фабричную столовку и там с наслаждением съел обед, который раньше считал плохим.

На работе он сговорился с ребятами комсомольской коммуны и вечером после смены перешел к ним жить.

Через два дня является к нему отец, спрашивает, почему он ушел от семьи. Молчание сына было тяжеловесно. Отец быстро раздражался. Он указал сыну, что у него есть все возможности по-новому жить в семье, ничто не мешает сыну-комсомольцу развиваться в семье...

Отец — член партии, мать — член партии... сестры — пионерки...

— Я ничего не имею против, — сказал в конце-концов

отец, — но мать беспокоится... Огорчил, знаешь ли, ты мать...
Знаешь, каждое женское сердце с дрожанием...»

Рассказ входил в зенит. Рассказ отхватил себе шестнадцать тетрадных страниц. Дальше сюжет качался, как вершина дерева на ветру, на которую жутко было взбираться, да и боязно: того гляди какой-нибудь сучок вот-вот обломится, основная мысль хлопнется и разобьется, а рассказ будет гнить сухостоем в заброшенной тетради.

Как поступит сын? Что его заставят сделать веления сердца и приказы разума? И кто из них переспорит? Вот сын открыл отцу подслушанное у Прияткина...

На семнадцатой странице выяснилось, что рассказ продолжать пока нельзя. Надо обдумать все дальнейшее течение его, выяснить, выверить. Что, например, сделает отец? За окном шевелилось стадо сумеречных теней. Перед окном пролетел почтовый аэроплан.

Линьков положил тетрадку в ящик стола и вытер перо листочком отрывного календаря с девятым числом, потом оделся и, ощущая волнующую жажду свежего воздуха, с необыкновенной охотой вышел на волю. На перекрестке вспомнились стихи, прочитанные в тетрадке девушки из головлевского кружка:

Прощаю все — за то, что были алы
Твои всечасно лгавшие уста,
Что жгли твоих прудей овалы,
Что есть в твоём лице одна черта;
Еще за то, что ласковым названьем
Ты нежила меня в час темноты...

«Дальше ничего не помнится, — мысленно сказал он себе. — Впрочем, это к моим родителям отношения не имеет».

«Сын, значит, все рассказал отцу, — думал он, шагая, — с этого, значит, места отец начинает быть главным героем рассказа. Как-то старина разрешит проблему измены своей жены? Чем он ответит? Он запыет мертвую, будет всячески изводить ее, даже бить... Нет, не так. Это свойственно до-революционному рабочему. Так и было раньше... Но ведь герой этого рассказа — коммунист, сознательный рабочий, общественник. Он этой слякоти в душе не допустит... Узнав от сына такую новость, он покачнулся, отвернулся на минуту и ответил сурово: «Ну что ж тут особенного?.. Не надо тебе вмешиваться».

На тротуаре встретился Норовков под руку с каким-то нестарым рабочим.

Увидев друга, Норовков всплеснул руками. На пьяном его лице появилось нечто в роде умоляющей растерянности.

— Федя, — забормотал он, — прости ты меня от всея души.. Дай мне ручку и прости меня... Выпили вот с зятем... рабочие оба... выпили просто за здоровье самих себя.

— Ну так что ж такого. Выпили и выпили, — проговорил Линьков.

— Так ты, Федя, никому не сказывай, что, мол, видел поэта Норовкова выпивши... Возьмут на заметку, что скатился в упа-

падошно-е... в упадок... скажут, что опять на старые мотивы стал писать...

— Нет, нет, не беспокойся — не скажу.

— А я ведь, Федя, по-родственному выпил и упадка в душе у меня никакого нету. Я в ударной бригаде у себя в цехе никогда не подкачаю. Поэт Норовков всегда на работу с энтузиазмом... Говорю от чиста сердца. А стихи я всю жизнь на свои мотивы писал, а если меня донимали, что ты на чужие дуешь, так это оттого, что зажимали рабочего поэта... Поверь ты мне, Федя.

— Барышни, какие вы с'едобные, — сказал зять проходящим девушкам.

— Верю, верю... Ну ладно, паштай дальше. Всего хорошего...

Навстречу Линькову выступали из-за домов и фабрик корпуса родной фабрики.

«Завтра — на утреннюю смену» — мелькнуло в голове.

«Здесь тают дни, уходят даты,
Здесь вдохновение, свет и пот...»

«А дальше что? — мысленно спросил он себя. — Опять не помнится, но это, вероятно, потому, что последующие слова недействительны по отношению к моей фабрике. Отдыхай, роднуха, до утра, а завтра опять заведем свою железную музыку, аж небо над нами будет дрожать.

«...Так, герой теперь пришел домой. Он в семейной обстановке, но все это родное и милое, вещи и люди не те, все гнетет и душит, будто некто облил все это родное какой-то дрянью.

— Александра, — сказал муж, — Александра, ты по-дожди крутить машинку... мне надо с тобой поговорить.

Увидев его искаженное болью лицо, она остановилась.

— Что с тобой, Енаша? — спросила она что-нибудь в этом роде.

— Александра, ты полюбила его?

— Кого это его?

— Да Прияткина. Не выворачивайся пожалуйста... Если вы любите друг друга, я... я... не препятствую... можете жить вместе... с моей стороны задержки нет... Я не хочу быть в тягость своей жене.

— Да о чем ты говоришь?

— Брось вилить... Найди в себе мужество сознаться. Если ты любишь его, иди к нему. Я даже детей могу оставить при себе.

«Вот какой мой герой сознательный» — восторженно подумал о нем автор.

Жена заплакала.

— Это была моя случайная ошибка, — бормотала она сквозь слезы. — Какая же может у нас состояться любовь и совместная жизнь, когда ему тридцать лет, а мне сорок два...

Вот тут опять разветвление сюжета. Простит ли он ее? Как пойдет дальше десятками лет улаженная жизнь?»

По противоположной стороне улицы шел Когтев, — видимо возвращался из очереди: он нес в руках детские салоги

«Долго же, видно, в очереди стоял, — заметил мысленно Линьков, — уже вечер. Хороший мужик — душа так к нему и тянется.

Все тот же очерк той же кепки
В весенний день и к декабрю
Солдатский френч простой и крепкий
И бахрома потертых брюк.

Откуда это четверостишие пришло в голову? Не только автора, а даже где и когда прочитал — не припомнить. Так, собственно, куда же я шагаю?»

Дорога поднималась в гору. Мимо с буйным остервенением проносились автобусы, навстречу вереницей шли люди. Линьков обращал внимание на девушек и оттого мнилось ему, что город населен только девушками.

Взойдя на гору, Линьков посмотрел вдаль. Окраины показались ему внутренностью чудовищной мастерской, где строились исполненные вещи.

Текстильный гигант, на котором, знал Линьков, будут заняты тридцать две тысячи рабочих, на две трети был уже готов, заканчивалась постройка третьего срока.

Белесо-черное кружево строительства Резинового комбината заслоняло яркое подножие вечерней зари: из-за постройки выглядывали только розовые полосы зари и светло-фиолетовая высь ее. Левее вздымалось и уходило в низину, как бы стараясь скрыть свою грандиозность, строительство Химического комбината.

По правую и по левую сторону и позади Линькова хоромом тянулись текстильные фабрики, обросшие за эти годы большими светлыми домами.

И знал Линьков еще, что там — за многоверстными рабочими поселками и посреди их — строились десятки новых заводов: фибры, экскаваторов, торфяных машин, трансмиссий, огнеупорного кирпича, фабрики: ашпретурные, прядильные, швейные...

Приходили в город тысячи рабочих и десятки тысяч сезонников, и все-таки их рабочей силы не хватало.

На улицах пахло черным печеным хлебом. По всему городу были разбросаны столовые, около них стояли очереди. Хлебозавод и Нарпит не успевали развертывать свое производство. Потребности города росли.

По сторонам главных улиц краснели клетки кирпича, желтел песок, хмурился по-дикарски свежий лес, думала о чем-то большом вырытая земля. Это строились новые здания химинститута, текстильинститута, сельхозинститута, пединститута, цирка, кино театра.

«Вероятно, я шел в кино, — подумал Линьков. Он свернул в переулок и вскоре достиг цели. — Сегодня идет «Симба» — гроза зверей. Что-то экзотическое. На афишах зебры, жирафы, слоны... Будем смотреть».

Он взял билет и нашел в фойе свободный стул.

«Муж на это просто ответил, что прощает ее, разводиться, скандалить на старости лет не намерен, но что жить с ней не будет. Они — чужие. Он никогда до нее не коснется рукой. Они будут жить в разных комнатах».

Вокруг Линькова гудит публика, шуршит ногами, прохаживаясь. В буфете хлопают пробки.

«А, может, герой рассказа должен стрелять. В кого? В жену.. или в Прияткина?.. Но какое же это разрешение вопроса!

Но жить с женой в разных комнатах! Встречаться, ненавидеть... Тяжело. Нет, он должен уйти от нее. Он оставит ей все, что столько лет наживал, и уйдет, взяв только свою одежку. Решено. Он уходит. Жена в обмороке.

Ее психологию надо описывать или не надо? — спрашивает он себя. — Совсем расказнил женщину, а в душу к ней не заглянул. Герой такой великодушный и честный, а она такая лживая, жалкая, но ведь и у нее вероятно своя правда есть. Вот она, роль автора, — всюду забеги, везде погляди, переживания разверни перед читателем, как свиток пергамента, и прочитай ему мудреную вязь движений человеческого духа».

Мимо прошла Сима, разряженная и румяная, под руку с военным. Линьков молниеносно заинтересовался его воротником. На красной полоске тянулись зубчатым багряным частокотлом четыре треугольничка. «Старшина роты», — определил Линьков и посмотрел им вслед. Бросив взгляд на ее ноги в шелковых чулках, он подивился: «Э, какая дюжая»

Он ощутил ревнивую злость, мысленно сказав ей: «Нашла третьего... ветреница... Ишь как разрядилась...»

Через десять минут, стиснутый с обеих сторон, он смотрел, как по африканским девственным лесам разгуливали зебры, жираффы, гну и страусы. В душе ощущалось приятное уныние, и сквозь него лютником едким напористо пробивалась ревность. «Нет, сын ничего не скажет отцу. Он эту нудную тайну похоронит в своем сердце. Он только скажет отцу, что ушел в комсомольскую коммуну только затем, чтобы выковать в себе крепкого, нового человека. Дальше в противовес этому старому домашнему быту в рассказе должна быть изображена жизнь в коммуне, учеба, развлечения, любовь...»

По траве крался лев. Стадо антилоп задало стрекача. Вожак жираффы сторожеко ходил по опушке леса. Вдруг он учуял опасность и бросился бежать, за ним все стадо. Как они бегают! Будто десятки телеграфных столбов обросли ногами и понеслись.

Теперь все ясно, что сюжет неуклюже, длинно и случайно стремился цепью мутных переживаний, не зная куда... Творчество этого дня в его глазах сейчас уподобилось призрачному жираффу. Рассказ показался холодным, бесцельным и неуклюжим. И как ответ на все это, с нервной четкостью вспомнился отрывок из одной дискуссионной статьи: «Старые творческие навыки кажутся пресными, новые еще не найдены. Между тем проблемы, тематика, масштабы распирают череп. Хочется объять необъятное. И не сообразишь сразу, как это сделать».

Выйдя из кино, он решил пойти к кому-нибудь из товари-

щей. Дома ждал его незаконченный рассказ и он боялся возвратиться к нему без определенного чувства. Он должен его любить или ненавидеть, чтобы, возвратившись домой, дописать его или вырвать из тетради эти шестнадцать страниц.

Линьков решил направиться к Каленову, а если нет его, пройти к Когтеву.

Каленов сидел за столом, заваленным газетами, книжками, болтами, гайками, образцами пряжи, и выписывал из книжки в свою тетрадку чем-то ему понравившееся изречение: «И даже мелкий эпизод, незаметное явление, рассказ о том, как удалось Гулливеру уйти от великанши за своей нуждой, имеет значение, если подойти к нему со вниманием».

— А я не думал застать тебя дома, полагая, что вы с Машей наслаждаетесь где-нибудь апрельской погодой, — заговорил Линьков.

— Рассказ сегодня писал, — сообщил Линьков, — дописал до середины, тут он у меня завиял, потом как-то опротивел и.. развалился.

Он долго и подробно рассказывал Каленову свою духовную жизнь этого дня.

Каленов хмыкнул, два раза медленно прошелся по комнате, потом опять хмыкнул, закурил:

— Знаешь что, Линь, — наконец заговорил он, — об этом разные Мопассаны в десять раз лучше тебя писали.

— Вот новость открыл, — вскинулся Линьков, — это я знаю без тебя... Но ведь они разрешали эти проблемы с точки зрения буржуазии, а мы должны перерешить их по-пролетарски. Вот какая тут цель. Мы должны с этими ухабами покончить.

— Ты, Линь, прежде чем кричать, вспомни, что у нас на первом месте общественное, а личное после. Ну что ты этим рассказом хочешь сказать? Возвестить, что обман, измены — эти низменные явления человеческого бытия — унижают человека и отвлекают от высоких общественных задач, — так об этом говорено... Этим переполнены многие книжки... Меня вот что чрезвычайно удивляет: как это тебе, Линь, в башку забралась эта муть?

Линьков помолчал и потом хмуро ответил:

— Если тебе, как другу, открыться, так надо сказать, что все это произошло у нас в семье.

— Все в точности?

— Не совсем.

— И ты слышал это по дороге с фабрики?

— Да.

— Под фамилией Прияткина кто скрывается?

— Это не имеет значения.

— Да, да, да... А ты отцу на самом деле сказал?

— Нет, не говорил.

— Ну и не надо.

Молчали долго. Линьков заговорил первым. Говорил скорбно:

— Понимаешь ли... жить в семье тяжело... Не могу смотреть ни на отца, ни на мать. Была бы у нас на фабрике комсомольская коммуна, вступил бы в нее, как в рай.

— Верю тебе, Линь, — посочувствовал Каленов, — но уйти от семьи ты можешь: ничто тебя не держит. А рассказ на эти темы ты не пиши. Не нужно, На-ка, вот, прочитай заметочку. — Он оглядел стол и нашел под болтом вырезку: «Успешный переход ряда фабрик на функционалку поставил перед основным трестом края вопрос об ускорении перехода на дифференцированный труд. По плану, разработанному трестом, на его фабриках в текущем квартале переводятся на функционалку в круглых цифрах 640 тысяч прядильных веретен и 7 700 ткацких станков. В течение июля, августа, сентября предполагается ввести функционалку на 680 тысячах веретен и 11 700 ткацких станках. Четвертый квартал 1931 года будет решающим в борьбе за дифференцированный труд. В октябре, ноябре и декабре 1 200 тысяч веретен и 17 500 ткацких станков, переведенные на функционалку, завершат переход на новые формы труда».

Каленов возбужденно ходил по комнате, комкая рукой козырек волос, спустившийся на лоб. Как только Линьков отвел взгляд от вырезки, он пылко заговорил:

— Прочитал? Понял ли, в чем тут дело? Вот эта тема, так тема! Это не то, что увлечение мамаш и последующие за этим переживания ее мужа и сына, а потом осложнения быта. Здесь люди перестраивают главное содержание жизни — труд. Величайшее историческое явление! Оригинальнейшая тема нашей эпохи. Надо писать от этом полыхающую теплом и энтузиазмом, переполненную переживаниями и хитроумными расчетами книгу. И мы с тобой, два молодых энтузиаста, должны быть в числе героев этой книги.

Мы с тобой зачинатели функционалки, к тому же ударники, пришедшие в литературу, будем хуже помещика Обломова, сделаем огромное преступление, если не напишем в самое короткое время о достижениях функционалки в нашем цехе, если не передадим всем другим фабрикам свой опыт. Ты подумай, какую интересную книжку мы можем написать. Вспомни, как мы начали, как развивалось дело, сколько всего мы видели, перенесли и чего достигли.

Линьков, откинув голову назад, слушал Каленова. Его охватила большая радость, ласковая, теплая. Как хорошо, что зашел к Каленову. Со своим рассказом, значит, покончено. Все эти переживания, хлипкое творческое напряжение потухли.

— Вспомни хотя бы такие моменты, — заливался Каленов, — вспомни, что результаты первых опытов были плачевные... Тогда появилось явное вредительство... саботаж... На десяти станках были сорваны основы. Подмастер Чернов назло разладил все станки. Чернов был самым ярым врагом функционалки. По фабрике пошли сплетни, что работниц на функционалке замучили, что у них изо рта идет кровь. Помнишь? Образовались группы недовольных под предводительством подмастерьев Галахова и Шляндова. Руководители этих групп несколько раз пытались сорвать производственные совещания... Чорт-те што всего было... Но энтузиасты не падали духом — нажимали и нажимали...

— А трусов ты забыл? — подхватил Линьков. — Помнишь,

как комсомолка Морозова и Котова с позором убежали с функциональных комплектов?

— Да, да, да!.. И вот об этом надо не только рассказать, а и показать все это. Выложить перед читателем причины, как они стали трусами и врагами функционалки, какие причины и объекты на них влияли и самое главное — показать во весь рост людей, которые выросли в энтузиастов, в героев функционалки, таких например, как Арзамасова, Табакеева, Бутусова и подмастерья — Суровцев, Канаев.

Они самозабвенно толковали о книжке часа два.

— Ты оставайся жить у меня и будем вместе писать книжку, — предложил Каленов. — Так?!

Линьков обрадовался и с благодарностью согласился.

— Ну мы эту книжку напишем, — через несколько минут говорил он, — а дальше?.. Дальше какова наша литературная судьба? Вот, когда я начал маракать, то меня мучило сознание, что я не могу часто и интересно писать. Напишешь стишок и уже опустошишь себя на месяц, на два, и от этого у меня было жалкое самочувствие.

— Так неужели тебе непонятно, в чем тут дело? — усмехнулся Каленов. — Нам надо чрезвычайно много работать над собой, овладеть ленинизмом, видеть жизнь, овладеть литературной техникой и тогда таких моментальных творческих опустошений не будет. Мы будем писать производственные повести, рассказы, стихи... Тем у нас много: новые формы труда, ударничество, строительство...

— Все это так, — согласился Линьков, — главное — работать над собой, овладеть марксистско-ленинским методом и литературным мастерством или, как поучает нас Горький, научиться давать отражение в слове и образе. Это все мне известно в такой же мере, как и тебе. И еще меня занимает дальнейший литературный путь таких ребят, как Венков, Головлев, Овинин, Хлопов...

— Да, это интересно, — отозвался Каленов. Он прикусил краешек нижней губы и минуту подумал.

— Когда я думаю о них, — начал он после молчания, — у меня возникает нечто в роде сожаления. На чем-то они застряли и засохли. Наша задача ударников, призванных в литературу, — сделать зачин, положить начало великому расцвету пролетарской литературы, а они для этой почетной роли не годятся. Все эти Головлевы, Овинины, Хлоповы какие-то бесформенные, сморщенные, холодные... Они оторвались от живой жизни. Творчество их не имеет под собой социального фундамента и они не знают, что сказать. Они могут наворачивать шаблонные очерки и стихи, но глубокого, проникновенного произведения эпохи от них мы долго не дождемся.

Вот о таких, как Венков, приходится подумать. Этот лезет и очень упорно. У него острый глаз и громадная работоспособность. Он теперь ласков с нами необыкновенно, лезет в самую тесную дружбу... Бывает у меня, у Когтева, у Челнокова. Как-то затащил меня к себе. Говорили чуть ли не всю ночь. Русскую, классическую литературу он знает всю, теперь роется в мировой. Он пи-

шет сейчас какой-то сюжетный, очень богатый действиями и красочными эпизодами роман из жизни нашего города. Они очень сдружились с Когтевым. Между прочим Когтев нашел на одной из наших фабрик ударника пятидесяти трех лет, недавно награжденного орденом Ленина, и описывает его, Венков говорит, что у него выйдет хорошая книга, так как жизнь этого рабочего-ударника — ярчайшая повесть героя-ударника наших дней.

В сарайчике перед окном как пионерский горнист запел петух.

— Вторые петухи, — сказал Каленов, — давай спать, нам с тобой с пяти утра на фабрику, а там ударная работа.

КОМСОМОЛКА ПАНОВА

«Как лучшая ударница с Меланжевого комбината в заграничную поездку посылается т. Панова Е. П., комсомолка, работница ветерного отдела».

(Газетное сообщение).

Из глуши, из болотного леса,
Где широко легла
Торфяная руда,
Нагруженные током Ивгрэса
До текстильного центра
Бегут провода.

Необ'ятных богатств
Одичалый панцырь
Покорился напору рабочих воль,
И забились сердца
Молодых подстанций
Напряжением в тысячи вольт.

Песни, встаньте у дней на страже вы, —
Ваша слава —
Ударные темпы работ!..
Включает моторы
Огромный Меланжевый.
Даешь отделам полный ход!!!

■
Когда еще песней для города новой
О первой работе Меланжевый пел,
Семнадцатилетняя Лиза Панова
Пришла ученицей в прядильный отдел.
Машину наладить не легкое дело:
Тут гайка ослабла, там ролик заело,
А нитки летят — не успеешь вязать.
Держи целый день настороже глаза!

Отдавши работе внимание строгое
С квалификацией прочной,
Встал на комплект подмастерье Строганов —
Опытный, старый рабочий.

Он не был товарищем глухих отлучек,
Хозяином грубого слова;
И стала в комплекте
Работницей лучшей
Серьезная Лиза Панова...

Она не считает излишней нагрузкой
(Иные не любят подобных дел),
Когда за двадцать минут до пуска
Поутру приходит в свой отдел.

Зато машина ее в порядке,
Довольна и смазкой и чистотой,
И нитка послушнее вьется с початка,
Снижая ненужный простой.

■

Ворчали соседки вначале:
— Уж больно ты, девка, шустра;
Ты этак других подкачаешь,
Провалишь, — своя же сестра.

Рвачи голосили волком:
— Расценки поедут назад.
Но крепкая комсомолка
Старалась свое доказать!

— Товарищи, спорить ли надо,
Искать ли чужую вину?
Давайте работать бригадой,
Прорывам об'явим войну.

Мы с вами почти кандидаты
На черную доску сейчас;
Не стыдно ли будет, ребята,
Вставить на позорный показ?

И вот о бригаде последний вопрос
Сдвинут с последней точки.
Работой бригады уже всерьез
Встревожены одиночки.

И критиков строгих язык притих,
Болтавший вчера без пощады;
Теперь, наконец, образумили их
Успехи ударной бригады.

Мы видим проценты:
За март — сто пять,
Апрель вырастает
В сто восемь,
И в мае апрельские цифры опять
Приходят желанным гостем.
Мы видим, что темпы
Не сдали назад
В угоду июньской погодке, —
Отчетливым шрифтом лаская глаза.

Сто десять
Стоят на сводке.
Утратили силу прогульные дни,
Что раньше гремели в печати,
Сегодня покорно притихли они
Под цифрой — четыре десятых.
Ударники знают свой путь впереди
И к дружной работе готовы —
Надежный и стойкий у них бригадир —
Работница Лиза Панова.

■
Бригаде машины и близки и дороги,
А в сердце огни комсомольских заданий.
Два года работает Лиза женоргом —
Доклады, отчеты, часы заседаний...

Вопросов так много,
Их важность громадна;
Борьба тяжела —
Победа отрадна.

Мы ценим разумную, крепкую речь,
Но слово примером оправдывать надо.
Товарищ Панова сумела вовлечь
В ряды комсомола ребят из бригады.

Она растолкует отсталой соседке,
Как нужен стране пролетарский заем:
— Включая все силы в разбег пятилетке,
Мы лучшую жизнь для себя создаем.

На цехсовещаньях ее выступленья —
Простые слова большого значенья:
— В день рабочий семичасовой
В дело свое окупись с головой,
Чтобы добро не разваливать даром —
Больше внимания всяким угарам.
Пряжи обрывок пшвырнули вы на пол,
Смазчик его из масленки закапал;
Грязным угарам пустая цена...
Нам бережливость хозяев нужна.
— Нужна бережливость —
Как будто понятно,
Но все же мы плохо дружим с ней,
И губит проклятая наша халатность
Тысячи нужных рабочих рублей.
Когда мы готовим основу, уток ли,
Мы бьемся за норму,
Себя горячим.
А качество нашей работы высоко ли?

Мы знаем, что нет...

Мы знаем, что нет...

И преступно молчим.

Но если по норме идем впереди мы —
Другие высоты для нас достижимы,
Лишь дела побольше,
Поменьше речей —
Окрепнет основа
У наших ткачей!

Спит Меланжевый на заре.
Тишина на фабричном дворе,
Тишина в бетонных этажах,
Только разговаривают сторожа
И дымят махоркою родной,
В коридоре будки проходной.
Но, четыре тридцать — на часах,
В тишину врывается гудок;
Будоражит ближние леса,
Режет воздух вдоль и поперек,
По реке, по крышам, по лугам
Рассыпает звуков ураган.
Не задремлет Соснево * до ночи,
Богатырь вступает в день рабочий.
Дребезжат автобусов сирены,
Собирается трехтысячная смена;
Машины ждут,
И раньше всех
Ударники приходят в цех.
Мелькают легкие спецовки,
Упругих рук движенья ловки;
Початков разные сорта
Встают рядами на места,
Вчерашний пух сметен со стали,
Нормально смазаны детали;
Пора, даешь моторам ход!..
И этот день к победе новой
Свою бригаду поведет
Почетный бригадир Панова.

«Труд уже стал делом чести и славы» --
Этих слов не погаснут огни.
Товарищ Панова имеет право
Званье героя
Носить в наши дни!

* Рабочий поселок около Меланжевого комбината.

ОТЕЦ

Бывает разни́ца сердец,
 Пример найти не трудно очень:
 У Тоньки Русиной отец
 Слыл лодырем среди рабочих.

А в Тоньке молодость цвела,
 Неудержим поток кипучий,
 Она в цеху у нас была
 Ударницею лучшей.

В одном комплекте дочь с отцом,
 Станки их даже рядом,
 Но он работал с холодком,
 Она была в бригаде.

Отец в цеху за часом час
 Рабочий день скрадает,
 Заметь: в курилке сколько раз
 Он в смену побывает!

Уйдет. Забудет про станки,
 Друзей в курилке встретив.
 Язык почешет... челноки
 Наделают подплетин.

До смены поспешит домой,
 Гудка не выждав даже...
 А Тоне очень дорогой
 Была минута каждая.

Гудков заслы́ша голоса,
 В цеха спешит Тонюша.
 Тонюша любит в корпусах
 Станковый говор слушать.

К станкам приходит раньше всех,
 Еще в цеху бывает тихо.
 Гордился Тонькой ткацкий цех,
 Гордились Тонькою ткачихи.

Гудок ткачей позвал домой,
 И день идет на убыль,

Отец хмельным сидит в пивной,
А дочь в фабричном клубе.

Дней листопад не удержать,
Дни убегают быстро прочь,
Со смены вечером спеша,
Отцу сказала как-то дочь:

— Отец!
В работе ты отстал,
Об этом цех весь знает,
А я даю побольше ста
И браку не бывает.

Двадцатый вспомни!.. Шла борьба...
Ты мог с врагами крепко драться.
Но дни бегут и вот тебя
Я вызвала соревноваться.

Глаза отца темны, как ночь, —
В тот вечер были сини,
С усмешкой он взглянул на дочь,
Но все же вызов принял.

Вскипела гордость старика:
Не уступлю я дочери,
Она три года у станка,
Я тридцать лет — рабочий.

С тех пор следил за ними цех,
А дни бежали шибко.
У Тоньки радость на лице
Играла, как улыбка.

Отец все чаще до гудка
Теперь в цеху бывает
И с каждой гайки у станка
Утрами пух сметает.

Его в курилку позовут —
Откажется, и снова
Станки звенят, станки поют,
Текут ручьи основы.

Апрелю подходил конец,
Принес апрель большую радость:
105 процентов дал отец
За первую декаду.

И было Тоньке хорошо.
Впервые в вечер этот
Отец в пивную не пошел,
Отец сидел с газетой.

В небе вороном кружитесь
Самолет.
Защищать свои границы —
Марш вперед!

В толстобрюхие мишени
Целься, глаз,
Генералам всем по шее
Вдарим враз.

Из Китая рвутся слухи —
Будет бой!
Нас ведет товарищ Блюхер
За собой.

Мы всегда на изготовке.
— Враг, не тронь!
Чуть задел — берем винтовки
И — огонь.

Пулеметный мы рассеем
Ураган.
В бой, восточная, смелее
На врага.

Из Китая рвутся слухи —
Будет бой!
Нас ведет товарищ Блюхер
За собой.

Пусть над сопкой
Ходят ночью
Газ и дым,
Не дадим страны рабочих,
Не сдадим!

Нам китаец смуглолицый —
Друг и брат,
С палачами будет биться
Наш отряд.

Из Китая рвутся слухи —
Будет бой!
Так веди ж, товарищ Блюхер,
За собой!

ПРИСТУП

Взрывая воздух в вихре боевом,
Гремит с утра
Кувалдами ремонтный.
Пусть молод я.
Годами и трудом,
Но я солдат
Строительного фронта.

И это фронт не орудийных пальб,
Здесь нет убийств
И человеческой крови.
Крутой наждак,
Оттачивая сталь,
Не кровь людей,
А кровь металла пролил.

Клокочут дни. Усиленно растут
В заводе новых корпусов фасады,
И в новых формах
Обновленный труд
Зовет ребят
В ударные бригады.

И он, в прошедшем славный командир,
Видавший фронт
И смерть в жестоких муках,
Увидев, как безусый бригадир
Ведет братву
На приступ в перестуках, —

Тряхнул кошной седеющих волос,
Бросая в звень
Слова бодрящим скопом:
— С такими выполним
Не только быстрый рост,
А завладеем
Новым Перекопом...

СЛУЖИ, ПЕРО, КАК БОЕВОЙ КЛИНОК!*Красноармейцам, идущим
в литературу.*

Товарищи, в Стране советов
Мы завоюем не один Сиваш!
— Свои строители, бойцы, поэты! —
Вот на сегодня лозунг наш.

В боях не ждут. Вперед походным маршем!
Пропустишь час — отрезаны пути...
Товарища поопытней, постарше
Вождем мы рады видеть впереди.

Пусть белоручки — «гении» — не с нами.
Поэзию в рабочий обиход!
Мозолистыми, жесткими руками
Сорвем погоны с творческих высот!

Пройти Сиваш — не легкая задача!
Уже горят созвездья первых строк.
Свети нам солнце боевой удачи,
Служи перо, как боевой клинок!

ГЕННАДИЙ ГОРБУНОВ**СВЕРХ ПЛАНА**

Коловорот, струей сверкая,
Сверлит, повысив резко тон.
Сегодня наша мастерская
Взяла в ремонт еще вагон.

Утрачен вид его задорный,
Он от движенья крив и кос,
Мазут сочится кровью черной
С полуизношенных колес.

То болт, то буфер в нем развинчен,
То крыша смотрит сетью ран...
Еще вагон залечим нынче,
Дневной повысим промфинплан.

И к вечеру вагон усталый
Переделся и окреп,
Чтоб завтра видели вокзалы,
Как он на склады возит хлеб.

ПОДГОТОВКА

ОЧЕРК

Сосновый лес. Он щедро источает смоляные запахи, бодрит и освежает. По лесу, в строгом порядке, поротно, разбиты приземистые белые палатки. В одной из таких палаток помещается штаб 2-го батальона №-ского стрелкового полка.

...Вечер 27 июля. В полотняный город возвращаются со стрельбища, с тактических занятий усталые роты. Они идут, пыля по дороге, оглашая лагерь взрывами песен — усталые роты поют, ибо походная, боевая песня незаметно снимает большую долю дневной усталости.

После команды — «Можно разойтись!» — роты рассыпаются так, как из гранки типографского набора рассыпаются отдельные знаки.

Роты рассыпаны. Бойцы бегут напиться. Затем, прочистив винтовки, идут к умывальникам — смыть усталость военного похода. Потом — ужин, лентпалатка, книга, радио и в 10 часов вечера «отбой» — все уже спят, в лагере становится тихо-тихо и только в разных местах мечтают о разных разностях молчаливые дневальные.

А пока не кончился лагерный день, пока не затих лагерь — по ротам, батальонам и полкам отдаются распоряжения на завтрашний день, который начнется в 5 часов утра.

В штабе-палатке 2-го батальона сидит за столом комбат товарищ Пак. Смуглый кореец Пак бодро и прямо держит свой гибкий, крепкий корпус и отдает стоящему напротив старшине распоряжения. Слова Пака падают четко и в голосе его едва уловимо слышится неправильное произношение каких-то букв.

- Батальон поднять завтра... а впрочем вы запишите!..
- Так запомню, товарищ комбат!
- Запишите!

Старшина склоняется над соседним столом штабиста Михайлова. Командир батальона диктует.

— Батальон поднять в 3 часа, за 2 часа раньше обычного... Утреннюю зарядку не производить... Бачки должны быть заполнены кипяченой водой. О завтраке позаботиться с таким расчетом, чтобы в четыре двадцать пять мы могли выступить.

- Есть, товарищ комбат!
- Проследить за тем, чтобы к моменту возвращения батальона в умывальниках была припасена холодная вода и в бачках — кипяченая вода.
- Есть, товарищ комбат!.. Можно быть свободным?
- Повторите распоряжение!

Старшина подтягивается:

— Вы, товарищ комбат, приказали батальон поднять завтра в три часа... приготовить завтраки, выступаем, значит, в четыре часа... потом, значит, когда придем...

Комбат сквозь большие круглые очки строго смотрит на сбившегося старшину, недовольно перебивает его:

— Что у вас записано?.. Поглядите!

Старшина, глядя на бумажку, выправляется.

— Можете идти!..

Старшина уходит. Товарищ Пак сгибает корпус, устало облокачивается на стол, снимает очки, и широкая улыбка стирает с его лица требовательный облик командира и в этой полюводной улыбке тонут карие глаза корейца. На месте глаз остались искрящиеся смехом узенькие скошенные щелки.

В нашей литбригаде есть товарищ Баранов, он командир за-ласа, когда-то с товарищем Пак они служили в одном полку и сейчас встретились как старые знакомые.

Товарищ Пак откровенно признается, что он сегодня сильно устал. А времени уже девять часов вечера. Через шесть часов батальон должен быть снова на ногах, и мы уходим из палатки — даем товарищу Пак отдохнуть.

Утро было тихое и розовое. Росной испариной дымилась трава, дремали обвешанные хрустальными бусами росинок кусты, золотились первыми увидевшие восходящее солнце верхушки статных, задумчивых сосен.

Лагерь кутала тишина и безмятежность покоя.

Но вот эту тишину раздвинул и хлынул на притихшие палатки всплеск металлических звуков: горнист играет зарю.

Тишина в лагере отдыхающих бойцов обманчива всегда.

Горнист всколыхнул палатки 2-го батальона и лагерный день начался.

Бойцы торопливо умывались, быстро приводили себя в боевой порядок, завтракали, и к четырем часам роты сошлись на плацу.

На плац прибыл на вороном, размашистом как ветер коне и командир батальона — товарищ Пак.

Батальон построился в походную колонну, подалась команда, вспомнились стихи Э. Багрицкого:

На плацу, открытом
С четырех сторон...
Вубном и копытом
Дрогнул эскадрон.

Батальон уходил на линию огня.

Мы остановились под прикрытием небольшого лесочка. Перед нами открылась огороженная со всех сторон лесом песчаная холмистая местность. По ней очень редко разбросаны небольшие грушки кустов, деревьев, видны развороченные окопы, остатки проволочных заграждений.

Через эту лысину справа от нас, по опушке леса, проходит линия железной дороги. А там вдали, на том краю лысины, за холмами на песчаной высоте видны полуразрушенный домик,

колодезный журавль и большой куст зелени. Еще дальше, немного влево от домика, на другом холму уныло стоит мельница-ветрянка.

На этом участке вел наступление 1-й батальон. Он очистил лысину, снял все передовые охранения неприятеля, выбил его из окопов и повел наступление дальше. Но пулеметный и орудийный огонь отбросил атаковавших назад и наступление застыло.

Разведка первого батальона установила, что огневые точки неприятеля находятся на высоте с домиком, на высоте с мельницей и в кустах, что немного левее мельницы.

2-й батальон пришел на поддержку 1-го батальона.

Нам дали задание — сбить огневые точки неприятеля, занять высоты и продолжать наступление. Для проведения этой операции ко 2-му батальону прикрепляется отряд танков.

Батальон разбивается на роты, они, согласно приказаний комбата, уходят на исходные позиции.

Комбат сообщает ротным командирам время, когда начнется наступление.

Наша 5-я рота должна занять и держать позицию по левую сторону полотна железной дороги. Рота ставится в центр неприятельского огня, ей приданы три танка и в деле ликвидации неприятельских огневых точек ей принадлежит первая роль.

В полкилометре от неприятельских укреплений, у железнодорожной насыпи — густой, зеленый кустарник. Он как раз в центре позиции, занимаемой нашей ротой. Комроты товарищ Голубев — низкорослый кряжистый, человек с молодыми, вечно смеющимися, прищуренными глазами — избирает этот кустарник своим наблюдательным пунктом.

Быстро делаются необходимые приготовления. Два взвода Голубев послал занять позицию по ту сторону железной дороги и один взвод выставил впереди своего наблюдательного пункта. Каждый взвод прислал к командиру роты своих связных. От командования батальоном прибыл связист с собакой.

К кустарнику вдоль железной дороги ведет лошадка. По ней Голубев беспрепятственно достигает своего пункта, за ним идут связисты. На пункте, в большом кусту устанавливается полевой телефон. По той же лошадке к кустарнику поползли три неуклюжих танка.

— Связисты! — полугромко окрикнул комроты Голубев.

— Есть, товарищ командир! — отзываются связисты.

— Передайте командирам взводов, — еще тише говорит Голубев, — что я прибыл на свой наблюдательный пункт. Наступление начнется ровно через семь минут. Приказываю взводам срочно занять указанные позиции. О начале наступления будет сообщено сигнальной ракетой красного цвета.

— Есть, товарищ командир! — связисты поворачиваются и начинают пробираться каждый к своему взводу.

— Товарищ комроты! Я, командир танкового отряда, привел в ваше распоряжение три танка.

— Три «таньки», — смеется Голубев, — хорошо!..

Танковый командарм — чуть повыше Голубева, в синем обмундировании — сдвинул на лоб очки.

— Слушайте боевую задачу! — обращается к нему Голубев. — Примерно в полкилометре отсюда, на высоте с домиком находится огневая точка неприятеля. Ваша задача — сбить эту точку, чтобы обеспечить пехоте продвижение вперед... После того, как будет сбита первая точка, ведите танки на следующую, которая находится немного левее, на высоте с мельницей. И третья огневая точка неприятеля на нашем участке — немного левее высоты с мельницей, в группе деревьев... Понятна вам боевая задача?

— Есть, товарищ командир!

— Готовьтесь к выступлению! Осталось четыре минуты.

Командир танкового отряда передает танкистам боевую задачу, и затем все они ныряют под стальные колпаки бронечудовищ.

— Товарищ командир, — передают от аппарата, из куста, — вас вызывает командир батальона.

Голубев берет трубку:

— Слушаю... Комроты Голубев... Осталось три минуты... Есть, товарищ комбат!

Прибегают потные связисты. Они один за другим сообщают, что взводы заняли нужные позиции и к наступлению готовы.

На клочке бумаги Голубев написал:

«Позицию занял, через две минуты танки выступают на высоту с домиком».

— Комбату! — сказал он и передал записку связисту с собакой. Связист положил записку в кожаную сумочку, что приделана к ошейнику, спустил собаку с цепи и через секунду, отбрасывая метры, она уже пылила к наблюдательному пункту командира батальона. Минуты через полторы разгоряченная собака была снова в нашей роте.

Голубев держал в левой руке карманные часы, а в правой заряженный ракетой пистолет. Когда минутная стрелка слилась с нужным делением на циферблате, Голубев поднял пистолет кверху, дернул спуск, и сбившийся в клубок рой искр по спирали, как бурав, врезался в мягкую синь. Танки затарахтели, заскрежетали гусеничные ленты, дрогнули металлические тела и, выставив черные, большие, точно в страхе расширенные глаза орудийных дул, — танки пошли. Под их многотонными тушами гибли зеленые кусты, смертельный хруст издавал хворост. Танки прошли мимо нас, вышли из лесочка и, переваливаясь через рытвины, бугры, лощины, сокрушающе подвигались вперед.

— Передайте комбату, — сказал Голубев, — что танки пошли!

И когда телефонист возился у куста, глухо крича в трубку: «Тула!», «Тула!», дайте «Ленинград»... «Ленинград», от высоты с домиком был дан первый орудийный выстрел, но снаряд лег позади командорского танка; свинцовым дождем хлестали пулеметы, а танки шли и шли, гулко отхаркиваясь дымом и свинцом. Вслед за ними подвигались цепи стрелков.

Самое уязвимое место танка — гусеничная лента. Ее легче

всего можно перебить из орудия и тогда неуклюжая черепаха не двинется с места.

При появлении неприятельских танков следует выделить в ротах лучших стрелков — снайперов — для стрельбы по наблюдательным щелям танков.

Появление танков на нашем участке повидимому было так ошеломляюще и неожиданно для неприятеля, что на высоте с домиком получилось смятение и растерянность. Оттуда поливали огнем пулеметы, с рыком и ревом ухали пушки, они поражали, выводили из наступающей цепи отдельных бойцов, но танки оставались невредимыми и все ближе и ближе подходили к цели.

Танки подошли к подножию высоты. Опорный пункт неприятеля был насквозь прощупан пронизывающим смертельным огнем. В наступающих и идущих вслед за танками частях пехоты раздалось:

— Урра-а!.. Ур-ррр-р-а-а!..

С нашего правого фланга перевалились через железнодорожное полотно наши два взвода и, ударив гулким «ура!», приготовив винтовки к штыковому бою, рванулись в атаку на пораженную танками высоту.

На других участках фронта поднимались другие роты и с криками «ура!» перебрасывались вперед.

...Телефонист кричал в трубку:

— «Тула»... «Ленинград», вызываем «Ленинград»... Огневая точка неприятеля на высоте с домиком сбита, высота занята нашими частями... переносим аппарат на высоту с домиком...

Так же была занята и высота с мельницей.

А когда наши бойцы с криками «ура!» бежали на приступ последней опорной точки неприятеля (кустарник, левее мельницы), горнисты на наблюдательном пункте комбата забили отбавили в козлы, раскупорили флаги, откопали махорку. Командиры совещались, разбирались с начала до конца весь бой. Много было смеха, шуток и хвастовства.

— Выделили в нашем взводе Мишку наблюдателем, — рассказывает один, — а он забрался на самый верх сухой осины и вот наблюдает. Мы кричим: «Мишка, видать?» — «Все, говорит, как в своей тарелке»... Услыхал это комвзвода, да как увидел Мишку на сухой, голой осине и давай его: «Ах, ты такой-сякой, тебе вот дадут тарелку!.. ведь тебя за два километра видно, ведь тебя как куропатку снимут!..» Мы еле сдерживаемся от смеха, а Мишка: «Ничего, товарищ командир... не достанут»... Ясно не достанут, потому холостыми стреляют. А забрался бы так на фронте!.. Дайте, братцы, курнуть.

— А у нас, — перебил другой, — Остапенко замаскировался еще удалее. Лежали мы в цепи, вспомнили про маскировку и каждый норовит или за кустик приткнуться или за пенек какой. А впереди нас была песчаная голь, и когда надо было сделать перебежку, Остапенко выворотил кустик и двинул с ним вперед вроде бы как с букетом к барышне... пробежали мы шагов десять,

легли снова, а Остапенко сначала воткнул кустик, потом уж и лег за ним...

— Замаскировался!.. — смеялись кругом.

— Ничего бы пулемет прочесал такой букетик!...

— А вот Алешина прямо надо Ворошилову представить!

— За что это?

Белобрысый насмешливый красноармеец рассказал:

— Лежали мы с ним в обороне, я говорю: «Алешин, танки идут, давай подаваться назад, пропадем»... — «Ни черта, отвечает, уйдем!» «Не уйдем, говорю, слышал — командир объяснял, что танки могут поспеть за человеком?» «Ничего, говорит, это не такие...» А танки все ближе и ближе. Наши отступают, я то-роплю: «Пойдем, Алешин...», а он — «Подожди, мы его в канаву свалим».

Кругом прыснули смехом, красноармеец продолжал:

— И вот уж танк совсем близко, стреляет почем зря, а наш Алешин взял бревно вон у того домика, подбежал к танку и раз под гусеничную ленту. Но танк все-таки перелез через бревно... «Ну и храбрец ты, Алешин!» — сказал я. Не полюбилось...

Всех, кого следовало, процедили отдыхающие бойцы. Смеху было — река!

— А все-таки, братцы, чего-то было как на войне! — согласились все.

Потом пришли командиры. Стали разбирать результаты учебного боя.

Установили, что наступающие бойцы плохо маскировались — неприятельский пулемет многих мог бы выстричь.

В некоторых местах цепи наступали наравне с танками, и орудийный огонь по танкам мог поразить и их. В бою танки должны идти несколько впереди, ибо они расчищают путь пехоте.

Многие бойцы, находящиеся в обороне, забывали о том, что танки стреляют, и уходили с занятых позиций из-под самого носа танков. В действительном бою они безнаказанно не ушли бы.

Но не следует и чересчур воображать, что наступают действительно вражеские танки и их надо во что бы то ни стало сбить, вывести из строя. Если в нас много храбрости, то бросить гранату или бомбу под гусеницу вражеского танка на фронте — можно, но подкидывать бревна на учебном занятии под свой танк — не к чему.

В общем первое занятие с танками прошло удачно. «Что-то было как на войне!»

Командиры и политруки говорили об опасности новых войн, говорили о том, какую роль играют танки в боевой обстановке, как надо умело действовать совместно с танками в бою и какое громадное внимание этому должны уделить на учебных занятиях они — часовые советской страны.

Потом отдохнувшие и усвоившие в беседе первый урок учения с танками бойцы построились в колонну и, развернув над батальоном раскаленную готовность к борьбе боевую песню, затопали в лагерь — город полотняный.

ПОБЕДА ОБЕСПЕЧЕНА

ОЧЕРК

Мягко подпрыгивая на выбоинах дороги, среди выколосившейся ржи летит полугрузовой «форд» со скоростью 40 километров в час.

Навстречу — душистый ветер. Бойся, придерживай кепку, а то этот сорванец сорвет ее и тогда поминай как звали.

Через поля пролегла грунтовая, профилированная дорога. Широкая, без бугра и ямки, плотно утрамбованная, с новенькими мостиками через канавы и ручьи, она дает машине развивать скорость до 70 километров в час.

По бокам, как в кино, мелькают поля, чередуясь друг с другом: озимое, яровое, клевер, пар, опять яровое...

Но вот сплошным массивом километров на 5 раскинулись зеленым морем густые овсы Александровского зерносовхоза.

Овсы хороши. Они плотной стеной встали по обе стороны дороги и уходят в даль до самого горизонта.

На этом поле нет межей и полос. Насеянный рядами сеялками овес обогнал ростом своего ровесника с крестьянских загонов. Густой и высокий, он волной клонится по ветру и кажется, что никакая коса его не возьмет.

У околицы деревушки грустят полосы единоличников. Тут много василька и желтого цветка сурепы — красивых вредителей крестьянских полей. Причина: не сортированы семена и мало удобрений.

Зерно совхозного овса полновесно. Своей коренастой соломенной совхозный овес жадно берет из земли живительную влагу растворов калийных солей, которые перед посевом были щедро разбросаны по полям.

Лето сулит богатый урожай и горячую уборку.

Хриплый крик сирены пугает встречающихся лошадей. Они прыдут ушами, а некоторые бросаются вдоль дороги в тщетной надежде обогнать своего быстроколесого соперника. Стремительно отбегают назад рощи, кусты, деревни и села, где старухи, еще издали завидя пыль, спешат прогнать с дороги играющих детей. И смотрят старухи, как из кузова машут и кричат молодые ребята, а что кричат — не разобрать за рокотом и шумом.

Еще всего год тому назад в первый раз промчалось деревнями это взбалмошное чудовище. Крестились в испуге старые люди, молодым тоже было в диковинку, а теперь не крестятся — надоело. Каждый день пылит авто по дорогам.

Хорошо на машине в полях. Не от того ли у ребят разгорелись

глаза и лица? Они скалят белые как кипень зубы и их звонкий смех остается вместе с шумом машины позади в приволье.

Еще раз крикнула на повороте сирена и мы выехали на опушку осинової роци, где раскинулся лагерь 3-й участок.

В кустах разбиты палатки. В двух из них, в самых больших, на 12 человек каждая, живут трактористы. 12 самодельных коек стоят по бокам, около прорезанных в полотнищах окошек — маленькие столики, на двух из них стоят детекторные радио-приемники.

— Просим дирекцию, чтоб прислали нам усилитель — не дают, — жалуется обгоревший на солнце секретарь ячейки Штырник.

Он рассказывает, как плохо руководит работой секретарь комсомольского коллектива — Максимов.

— У нас он всего один раз был. Накричал на наше бюро и уехал, не рассказав толком, как же надо поднять работу на участке. Теперь все заглохло. В красном уголке мухи засиживают старые журналы. Очень плохо налажена доставка литературы. Присылаемые журналы и газеты не распределяются по читателям, а лежат в бавленских мастерских.

Ребята бросили надеяться на постороннюю помощь. Они сами взялись налаживать работу на своем участке. При помощи практикантов-студентов недавно был выпущен первый номер стенгазеты. Хорошо работает недавно организованная бригадиром Макаровым ячейка автодора.

Заветная мечта каждого парня и девушки — стать хорошим мотористом. В каждом рейсе шофера Кости Комисарова участвует один из членов ячейки автодора. Двое с участка: Чернышев и Елихин уже выдержали испытания на шофера третьей категории.

Под горкой у деревьев стоит вагончик — ремонтная мастерская. Сюда сходятся больные машины, чтобы через смену выйти здоровыми, без одного дефекта. В мастерских работают в две смены. С утра до позднего вечера звенят молотки походной кухни и тяжело вздыхают меха.

Это самое любимое место трактористов. В замасленных комбинзонах с французскими ключами в руках ребята часами возятся у своих машин после работы и глубже-глубже вникают в ее скрытые тайны.

Безусый народ. Неизвестно, каким ветром их занесло сюда с Кубани, Средней Волги и из ЦЧО. Нет у этих ребят прежней деревенской походочки в развалку — не торопясь. Работа в них выработала точность и быстроту движений, которых требует от человека машина.

Десять человек девчат.

Нет, это не застенчивые деревенские девушки — это новый тип, который вырабатывает жизнь рядом с машиной, который вываривает участковая ячейка комсомола. Они пришли сюда из глу-

хих деревень от зимних вечеров за пряткой, чтобы стать пролетариями чернозема.

В бойкости девушки не уступят нашим ивановским текстильщицам: тот же задор, те же ухватки, и только работа в поле в дождь и в непогоду, в жару и ночную свежесть надила их мускулы силой, которой позавидует любой физкультурник.

Вот трактористка Коровина — ей 23 года, она сильна, может пустить шестидесятисильный «катерпиллер» точно таким же рывком, как любой из бригадиров. Жизнь требует: учись и работай! Коровина одна из первых поняла это. До последнего болтика изучила машину и добилась того, что стала бригадиром и считается передовой ударницей на участке.

Здесь нет стариков за исключением заведующего и трех сторожей. 70 задорных молодых и веселых людей штурмовали поле в весеннюю посевную. Из 70 нет ни одного вне ударных бригад. В этом заключалась работа участковой ячейки, которая насчитывает в своих рядах половину всего молодняка. Лодыри, пьяницы и прогульщики вывелись на 3-м участке.



15-летнего мальчугана-тракториста, прозванного за свою деривенскую неповоротливость «Ойль-пуль»*, и до энергичного Штырника, секретаря ячейки, в Александровском совхозе все знали, что значит биться за выполнение плана.

Старт был дан 1 мая. 17 машин вышли в поле. Но дирекция на этот раз ошиблась в расчетах. Непросохшая земля не поддавалась машинам. На поле была еще грязь. Она облепляла гусеницы, проникала к осям и с'едала один за другим конусные подшипники. Часто в низинках машины «садились» и бились в бессильной злобе, стараясь вырваться из трясины, бились до тех пор, пока приходили «шестидесятки», чтобы взять увязших на буксир.

Ограниченное количество запасных частей заставляло тревожиться за исход сева. Руководители участка — заведующий Егоров и механик Митюков крепко помнили уроки прошлогодней пахоты и не хотели «гробить» машины. Они были отозваны назад. Первое наступление было отбито. Оттого первая декада мая дала всего лишь 584 га пахоты.

Пользуясь этим, перегонял 4-й участок, поставленный в лучшие условия.

У ребят — дрожь нетерпения.

— Чего медлить? Надо браться! — раздавались голоса.

Но в бою мало одного задора, исход боя решают расчет и упорство. В штабе обсудили создавшееся положение и решили двинуть колонну на высокие, уже просохшие места. А затем, когда солнце и ветер сделали свое дело: взяли из земли лишнюю влагу, — наступление было развернуто по всему фронту. Вот тут-то и понадобился стремительный натиск ударных бригад.

Утром солнце заставляло в поле новых пахарей, до заката оно любовалось тем, как коренастые четырехлемешные «оливьеры»

* «Ойль-пуль» — трактор тяжелой конструкции.

отворачивали пласты земли, дисковые бороны шли за ними следом, превращая в пух неподатливый суглинок, как рядовые сеялки ровно и экономно клали в борозды золотой шатиловский овес.

Падали весенние росы, поднимались ночные туманы, а люди упорно бились с землей. Слушали зуд тракторов пугливые осины, разбросанные грушами по оврагам, и тихонько перешептывались о невиданном.

Безусый народ — комсомольцы-ленинцы работали в 3 смены круглые сутки. В 3 смены работали 51 человек трактористов. Бес-сменно, почти наравне с машинами работали командиры колонны. День ото дня нарастали темпы, и вторая декада родила цифру — 1 329 га выполнения.

Изредка по дороге пылил автомобиль дирекции. Приезжал Кривошеин — технический директор зерносовхоза. Его обступали любопытные. Спрашивали, как идет дело на других участках. И всегда получали один ответ:

Надо нажимать, ребята! Вы далеко отстали!

Эти слова еще больше подливали масла в огонь. Бригады нажимали. Даже болезнь и та считалась дезертирством с фронта посевной. Далек были перевыполнены нормы вспашки, к минимуму сошли простои, экономили каждую каплю горючего.

Гектар за гектаром ложилась засеянная земля. Машины упорно ползли вперед.

Кривошеин про себя думал: «Не подкачают... выполнят». Он брал ребят «на пушку». В эти дни третий участок уже далеко шел впереди остальных, об этом никто не знал и все считали себя остающимися, а поэтому лозунг — «перегнать во что бы то ни стало» стал лозунгом каждого из трактористов.

Еще до начала сева общее собрание рабочих участка дало четкую установку работы: ни одной лишней минуты простоя машин.

Это твердо помнили все. Ночной трехчасовой перерыв от работы на сеялках использовывался трактористами на пахоту, на ходу производилась засыпка семян. Каждый вырванный у времени час давал лишние гектары засева. Поднималась кривая достижений.

Нещадно палило солнце. По желобкам обгоревших спин трактористов стекал за пояс мутной струйкой пот. Едкая пыль назойливо лезла в глаза, в нос. Мучила, гнала с сиденья жажда, но слезть с машины напиться, это значит — потерять несколько минут, это значит, что машина должна это время работать на холостом ходу и жечь лишние килограммы леграйна. Как впаянные сидели рулевые, ни на минуту не опуская рычагов управления.

Накануне срока окончания сева — 28 мая 2-я бригада 3-го участка под руководством комсомольца Чернышева перешла на-меченную черту, выполнив план. За спиной остались 1 050 га засеянной площади, а 2 июня комсомольский участок пришел первым к финишу весеннего сева.

23 дня весеннего сева дали 3 030 га засеянной площади. Наконец покончено с дедовскими методами. Для одной пахоты на

такой площади потребовалось бы более 200 лошадей с пахарями и месяц работы. А если к этому прибавить рассев удобрений, боронование, засев, то такое количество лошадей не могло бы справиться с этой работой в три месяца.

Только 2 июня на участке узнали о своей победе и отправили 6 машин на 4-й участок для ликвидации прорыва, а остальные одиннадцать взялись за взмет пара. В короткий срок пара подъяли 816 га.

3-й участок вышел первым. Кривошеин был прав: комсомольцы не подкачали!



Стойкую, трудовую хватку принес на поля зерносовхоза бывший подпасок из-под Киржача — Шурка Кузнецов.

Сколько нужды и горя вынес за свой недолгий век молодой пастух — об этом знают только березовые перелески, где гуляют деревенские стада.

Жизнь для Шурки началась снова в зерносовхозе.

Еще на курсах трактористов он узнал, как нужно любить и беречь машину.

И когда в первый раз доверили Шурке трактор, он хозяйственно обошел его со всех сторон, заглянул ему в нутро, проверил детали и только тогда рванул заводную ручку. А после Шурка долго прислушивался к рокоту машины, стараясь уловить малейшую ненормальность хода.

И так пошло изо дня в день.

Нашим просторам нужны машины. Тысячи гектаров земли лежат непахью. Но еще нужны опытные водители новых железных коней.

Взгляните в список премированных трактористов и вы увидите Кузнецова на первом месте. О нем говорят две цифры: 80 процентов чистой работы машины номер 11-552 и 14 килограммов расхода горючего на час. 14 килограммов против 17 допущенных по норме! Первая цифра самая, большая в списке, вторая самая маленькая.

Это — передовик!

Каждая капля горючего — деньги. Для того, чтобы сберечь лишних 3 килограмма горючего в час — надо машину держать в чистоте.

Каждый день смоченная керосином тряпка любовно протирает детали машины. Часы возни около нее после работы нейдут в счет, потому что Шурка хочет, чтобы машина работала без перебоев.

Во-время чуткое шуркино ухо ловило перебои мотора. И чуть что он замечал — тут же останавливал своего коня и починял на месте. Бывали такие случаи: Кузнецова посылали работать, но он не шел лишь потому, что в машине чувствовался какой-то маленький недостаток, он прежде исправлял все дефекты, а затем выезжал на работу.

Трактор иной раз бывает куда капризнее «гнедого». Всегда настороже должен быть рулевой, ни на минуту нельзя оставлять машину без внимания, и если внимателен тракторист, то его ма-

шина будет работать без простоев. Чтобы с'экономить 3 килограмма легарина, или 24 кило за 8 часов работы, надо убавить газ и урегулировать подачу горючего, когда машина идет под уклон, чтобы в цилиндры поступало ровно столько взрывчатой смеси, сколько ее требуется в данный момент. Если машина стоит, то не к чему жечь лишнее, надо выключить газ, чтобы машина не работала вхолостую. Это не открытие, это каждому трактористу известно давным давно, только далеко не все придерживаются этого правила.

Шурка так всегда делал, и 24 кило горючего в рабочий день оставались в резервуаре. 600 килограмм с'экономил Кузнецов за время посевной. Машина 11-552 не простояла лишней минуты, самой здоровой, без поломок вышла она из весенней битвы и ее не пришлось ставить в ремонт.

За передовиком Кузнецовым идут остальные водители машин: Штырлик, Амосов, Степанова, Миронова, Сурыгин и т. д. Все они — комсомольцы, премированы за хорошую работу. Всего по участку премировано более 20 человек.

Следуя примеру своего руководителя — бригадира Коровиной, комсомолки Степанова и Миронова дают 62 — 66 процентов чистой работы и экономии горючего — первая 0,8 и вторая 2 килограмма в час.

Первый ударный комсомольский участок оправдал свое имя. Мобилизованная ячейкой молодежь к сроку выполнила план весеннего сева.

Из 70 тысяч центнеров урожая на долю комсомольского участка придется немного меньше половины — 44,6% или 3 122 тонны.

Не окинуть глазом простора овсов и пшеницы. Надо к сроку, до дождей убрать 4 630 га посева. Горячее идет время. Но не падает задор молодых и сильных. В полной боевой готовности ждут осеннего штурма 17 катерпиллеров. Скоро выплывут на просторы 10 степных кораблей — комбайнов.

Победа будет обеспечена, так как у штурвалов комбайнов встали комсомольцы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>В. Полторацкий.</i> Так мы идем	3
<i>Мих. Шошин.</i> Путь-дорога	9
<i>Ал. Благов.</i> Комсомолка Павова	68
<i>Ив. Чув.</i> Отец	72
„ „ Песня	74
<i>С. Галямов.</i> Приступ	75
<i>Ев. Баранов.</i> Служи перо, как боевой влинок	76
<i>Ген. Горбунов.</i> Сверх плана	77
<i>Петро Иванчук.</i> Подготовка	78
<i>П. Рудный.</i> Победа обеспечена	84

Обллит № 490. Тираж 3000+140 экз. 2^{3/4} бум. л. 62×94 см. Пл. 99 840 печ. зн.
Огиз № 356. П Д-06. Заказ № 2497. Сдано в набор 21 апреля 1932 г.
Подписано к печати 11 июня 1932 г.

Редактор *В. В. Полторацкий.* Технический редактор *Ф. И. Сухов.*

1 р. 25 н.

—26073—

МОСКВА



ИВАНОВО

